

Долг · Честь · Мужество

Виктор Смирнов

ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ

Военные
Приключения



Военные приключения. Долг. Честь. Мужество

Виктор Смирнов

Тревожный месяц вересень

«ВЕЧЕ»

1976

УДК 821.161.1-311.3
ББК 84(2)

Смирнов В. В.

Тревожный месяц вересень / В. В. Смирнов — «ВЕЧЕ»,
1976 — (Военные приключения. Долг. Честь. Мужество)

ISBN 978-5-4484-5507-0

Сентябрь 1944 года. Фронт откатился далеко на запад от затерявшегося в лесной глуши украинского села, но продолжает рыскать в его окрестностях ожидающая неведомо чего банда бандеровцев. В схватку с нею вступают «ястребки» — бойцы истребительного батальона, которые не хотят, чтобы фашистские прихвостни хозяйничали на их родной земле. Широко известный роман был экранизирован на киностудии им. Довженко в 1976 году.

УДК 821.161.1-311.3

ББК 84(2)

ISBN 978-5-4484-5507-0

© Смирнов В. В., 1976

© ВЕЧЕ, 1976

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	20
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Виктор Васильевич Смирнов

Тревожный месяц вересень

© Смирнов В.В., 2025

© ООО «Издательство «Вече», оформление, 2025

Глава первая

1

Я дошел до «предбанника» и упал на горячий, усыпанный хвойными иголками песок. Густой запах хвои щекотал ноздри. Земля грела и баюкала меня. Она колыхалась на своей орбите. Кто-то покачивал ее, как колыску, что висит в хате у печи. Покачивал в полной тишине...

Я слышал, как ссыпается песок под семенящими ножками муравья. Тишина – удивительная штука. Два с половиной года я не знал ее. Правда, за время боев нас несколько раз отводили на отдых, но фронт был не так уж далеко, за горизонтом все время стучали, рвали брезент; земля оставалась беспокойной, она легонько гудела, как ночной улей. Всей своей шкурой – тогда еще совершенно целой, нигде не продырявленной шкурой – я ощущал этот скрытый гул, даже когда спал. Меня словно подключили к какому-то аккумулятору. Достаточно было нажать кнопку, чтобы ноги сами собой нырнули в сапоги и ремень плотно обхватил гимнастерку. Недаром Дубов говорил, что берет в свою группу только таких ребят, которые тратят на сборы не больше десяти секунд. «Час – мало, а десять секунд – как раз» – это было любимое присловье Дубова, старшего лейтенанта из дивизионной разведки.

Теперь фронт далеко ушел от меня. С ним ушли Дубов и ребята. А я остался... Лежу в соснячке и слушаю тишину. Она как вода – тишина. В нее стреляли фугасными, кумулятивными, трассирующими, зажигательными, шрапнельными, бронебойными, бетонобойными, а она все приняла в себя и сомкнулась, как только стрельба кончилась. Затянула все раны, будто их и не было.

Я перевернулся на спину и уставился в небо, поддерживаемое мутовками молоденьких сосенок. Кто и когда окрестил посадку «предбанником»? Кажется, так называли этот соснячок еще до войны. Сюда, в «предбанник», шастали парочки после танцев в сельском клубе. Наверно, им было жарко в соснячке, здесь ведь и без того жарко. Даже когда в лесу, на притененных склонах оврагов, лежит снег, посадка дышит печным теплом. Кого только было не встретить в «предбаннике»! В довоенную пору, конечно... Сейчас кому сюда ходить?..

...Небо было в длинных белых полосах. Как будто и туда ветер донес осеннюю паутину. Легкое, светлое небо. «Моя родина там, где проплывают самые высокие облака», – сказал однажды товарищ мировой посредник Сагайдачный, а он вычитал это у своего любимого француза по фамилии Ренар.

По-моему, нет нигде неба выше, чем у нас, в Полесье.

Я разбросал руки. Теплое марево подхватило меня и понесло, словно течение. Сознание замутилось на миг – не так, как от хлороформа, а по-хорошему замутилось, по-легкому.

Мне вспомнилось утро, когда я увидел младшую дочь гончара Семеренкова на озимом клине. Она шла по стежке с коромыслом на плече – высокая, легкая, стройная. Было рано, озимь чуть обозначилась на пашне, а вдали проступала сиреневая кромка лесов. Казалось, девушка сейчас сольется с этой сиреневой кромкой, растает, будто ее и не было. Почему я вспоминаю об этом утре, когда мне хорошо?.. Может, наоборот, мне становится хорошо, когда я вспоминаю об этом?

Я закрыл глаза и заснул. После госпиталя сплю, как январский барсук. Наверно, мне влили кровь какого-нибудь сони. Отсыпаюсь за всю войну. Кемарю себе, не имея охранения, не выставив постов. Наткнется вот так в соснячке кто-нибудь из наших, разнесет на все Глухары, что Иван Капелюх, чудила, единственный парубок на селе, в одиночку ходит в «предбанник»

отсыпаться. Девчата на смех поднимут. Ладно... Зато от полесской земли сил прибывает. Происходит подзарядка. Я чувствую, как теплые токи струятся по всем жилам. Хорошо. Мне очень надо поскорее выздороветь. На фронт надо. К ребятам.

Проснулся я оттого, что кто-то пробежал неподалеку – легкий, почти невесомый, словно облачко пыли пронесло ветерком. Никого не было видно и слышно ничего не было, но я хорошо знал, что к ощущениям, которые нарушают наш сон, следует относиться уважительно. Те, кто думал иначе, жестоко поплатились. Помню, как увидел вырезанный немецкими егерями сторожевой пост. Должно быть, тем двум молодым солдатам, не успевшим понять сути войны и позволившим себе заснуть на часок, тоже что-то чудилось сквозь дремоту, но они доверились убаюкивающему течению реки, по которой плыли... И их вынесло на бережок.

Я лениво отполз к краю «предбанника» и оглядел поляну. Это была сухая мшаная поляна, поросшая кое-где вереском с фиолетовыми кляксами цветов. Вересень... Месяц, когда всюю зацветает наша скромная и неприметная лесная травка и все вокруг заполняется густым и сладким запахом, приманивающим осенних пчел.¹

За поляной начинался темный и густой сосновый лес. Тут-то я и увидел ее. Косулю. Она резко выделялась на фоне леса, светлый силуэт ее был словно наклеен на темное. Потом она подпрыгнула, точно играючи, сразу всеми четырьмя тонкими ногами и помчалась по песчаной дороге вдоль леса. Она даже не касалась копытцами земли, до того была легка. Казалось, она, если захочет, может вот так же легко поскакать к белым паутинным полоскам на небе. Прочертит эдакую биссектрису и будет пастись на облаках.

Надо было идти, раз уж разбудили. Пришло время пить молоко. Солнце, которое неярко светило сквозь белые облачные нити, поднялось к своему сентябрьскому хилому зениту. В этот час моя бабка Серафима, первая ругательница на селе, учиняет дневную дойку. Чего только корова от нее не наслушается, пока бабка тянет ее соски. Казалось бы, молоко от таких слов должно закиснуть в подойнике. Но Зорька корова добродушная и меланхоличная. Молоко у нее густое, запашистое, тяжелое. Бабка говорит, что от такого молока только мертвецы не выздоравливают. «Вот назовите меня, милые, сучкой, вот чтоб мне больше ни шпырочки сала не съесть, какое лекарственное молоко. Вот кормите свою корову алоем, такого не надоите!» – заверяет соседок бабка. Соседки знают бабкин характер и не возражают. Молоко, впрочем, и в самом деле редкостное. Пью я его исправно, как лекарство.

Я встал, отряхнул хвою и паутину. Но меня задержало любопытство. Конечно же ни с того ни с сего косуля не металась бы по лесу. Кто-то спугнул ее, и мне захотелось посмотреть кто. Из-за любопытства меня и взяли в дивизионную разведку.

«Наверно, это Маляс или «ястребок» Попеленко, – подумал я. – У обоих есть оружие. На месте Попеленко я бы не забирался так далеко в лес».

Еще две недели назад в селе был второй «ястребок», квартирант Маляса, долговязый чахоточный Штебленок, но он пошел как-то в Ожин лесной дорогой, и потом его долго не могли найти – все потому, что искали в засыпанных листьями низинах, по буеракам и прияркам, по чертороям, а он висел на холме, в Шарой роще, на дубе, без сапог и фуфайки.

Отчаянно, по-базарному застрекотали сойки. Так надсадно они кричат только над охотничьей собакой или охотником. Над косулей они не станут так стрекотать, косуля для них своя. Они, сойки, не такие шумливые дуры, как кажется, вот только голос у них неприятный, от него такое ощущение, как будто наждаком по позвоночнику водят.

Стрекот перемещался быстро, и я понял, что сойки действительно гомонят над бегущей по лесу собакой. Вот уже протрещали крылья в ближнем сосняке, сойки поскакали с ветки на ветку и принялись орать, как у нас в сельпо орут, когда собирается очередь за тюлькой. Удивительные птицы. Их, как чужое племя, забросило к нам откуда-то с юга: цветастые они

¹ Вересень – сентябрь (здесь и далее в сносках поясняются украинизмы. – Авт.).

и нездешние. Помесь залетного попугая с родимой вороной. Разведчики мало добра видят от соек. Очень крикливые существа.

Должно быть, пес, который выбежал на поляну, придерживался такого же мнения. Он то и дело злобно косился на соек, болтая ушами, и принохивался к земле, водил носом по колеям на песчаной дороге, как будто шарик катил. Это была крупная худая дворняга, имевшая в родословной, судя по ушам, пойнтера. Левый глаз собаки окружало темное, похожее на синяк пятно, что придавало ей какой-то подгулявший, лихой вид. Вряд ли этот гончак всегда наслаждался свободой, потому что светло-рыжая шерсть на шее была примята, как будто он лишь недавно освободился от веревки.

Он скользнул по мне взглядом – заметил-таки! – и, разбрасывая длинные лапы, вынюхивая дорогу, побежал вслед за косулей. Ни у кого в деревне такой собаки не было, поэтому я подождал еще немного, не появится ли охотник, но тот, видать, ждал косулю где-нибудь в засаде, на перехлесте троп. Если, конечно, пес не охотился в одиночку, если он не пустился в эту погоню от голода и тоски.

В это время прозвучала автоматная очередь. Патронов десять – двенадцать, метрах в семистах от меня, там, куда убежала косуля, а вслед за ней – пес. Стреляли из шмайсера – он бьет поголосистее, пораздельнее, чем наш ППШ, у которого темп стрельбы много выше. Я не сомневался, что косуле хана, потому что выстрелы не повторялись. Тот, кто стрелял, если бы промахнулся, непременно бы долбанул вслед второй очередью. Автомат – штука азартная.

Мне стало жаль косулю. Она бежала так легко, так свободно! Не зная, зачем мне это нужно, я отправился по песчаной дороге туда, где прогремели выстрелы. Конечно, это было слюнтяйство – беспокоиться о косуле. Может, во мне заговорило сочувствие разведчика? Разведчик часто оказывается в роли преследуемого. Когда повесят над головой пару ракет и высветят тебя на каком-нибудь открытом поле, да пустят с флангов скрещивающиеся трассеры, да еще подключат пару ротных минометов, вот тогда почувствуешь, что значит убежать от охотника.

2

– Пей, тряся твоей матери, – говорит бабка Серафима, наливая молоко в глиняный кувал, размалеванный «виноградиком».²

«Тряся» – это излюбленное присловье бабки, и она ничуть не задумывается о том, что упоминает о своей собственной дочке. «Тряся», надо полагать, означает пожелание лихорадки, трясушки или «родимчика».

– Где тебя черти носят? – спрашивает бабка, наблюдая за мной и стоя рядом с глечиком, в котором приятно шуршит, оседая пеной, парное молоко. – Где это ты собакам сено косишь? Небось спутался с какой-нибудь нашей телкой? Они у нас гладкие, а ты вон какой! Тебе не об этом думать надо...

– И в кого вы у меня удались, Серафима, бабуся, добрая подружка бедной юности моей?.. – спрашиваю я.

Действительно, в кого? Дед мой, усатый, хитрый и своенравный хохол Капелюх, приехавший в Полесье якобы из вольнолюбивого Запорожья, непременно желал взять за себя белоруску: он наслышан был, что белоруски мягки, нежны и послушны. Чернявую хохлушку дед не желал, боялся, что при его, деда, характере найдет коса на камень. Три раза ездил старый Капелюх по Северному шляху якобы за лесом – все высматривал невесту на белорусской стороне – и наконец привез Серафиму. Красивая она была, Серафима, – старики в Глухарях помнили это, как помнили и то, что на третий день медового месяца дед вылетел из хаты как огла-

² Кружка (чаще – керамическая).

шенный и на плече его был отпечаток рогача. С тех пор и пошло, показывала ему Серафима наступательные действия в любых условиях.

Дед рано умер от паралича, и вот тогда-то выяснилось, что Серафима любила его безумно. Товарищ мировой посредник Сагайдачный уверял, что это типичный славянский вариант любви.

После смерти деда Серафиме туго пришлось. Она работала у печей на гончарном заводе и подкармливалась еще тем, что – тайно, конечно, – исполняла обязанности повитухи. Деревенские бабы не любили ездить в роддом, хоть к тому и призывали заезжие районные врачи, а предпочитали приглашать Серафиму. Все, что зарабатывала, Серафима отсылала моей матери. Она и меня содержала, когда я учился в киевской школе, а мать вышла замуж и уехала. От матери я получал красивые открытки и признания в нежной любви, а от Серафимы – деньги. Не по почте, разумеется, – Серафима не доверяла почте. Стянутые резиночкой трехрублевки и пятерки привозили односельчане, оказией. Записок при этом я не получал – Серафима была неграмотна. Но если бы она умела писать письма, то первым словом в них было бы «трясця», не сомневаюсь... Трясця, мол, и трясця, учись хорошенько!

Подлив молока, бабка снова задает вопрос чисто риторического порядка:

– Где твои кишки мордует, господи прости?

Не могу же я рассказать ей, что ухажу за километр в «предбанник» и там лежу в одиночестве, глядя в небо, вспоминая ребят, вообще думая черт знает о чем. Или подаюсь на хутор Грушевый к семидесятилетнему Сагайдачному вести длинные разговоры и слушать рассказы о вещах малопонятных и далеких... Нет, об этом я не могу рассказывать даже бабке. Достаточно на хуторе одного дурачка – Гната, пыльным мешком пришибленного. Поэтому при упоминании о гладких телках я делаю хитрое и многозначительное лицо, что заставляет бабку задавать все новые вопросы, причем в довольно острой форме.

Наконец я допиваю молоко, и бабка забирает кухоль.

– Спасибо, неню, – говорю я.

Это непере译имое «неню» в наших краях означает очень многое, вбирает в себя все понятия в диапазоне от «мамочки» до «нянечки». Слово действует на бабку безотказно. Это своего рода пароль, известный лишь двум сообщникам. Бабка, и без того сморщенная, как узбекский кишмиш, который всем выписывающимся из госпиталя выдавали сухпайком по графе «сахар», вся закутанная в невероятно рваные платки и кацавейку, вдруг улыбается, сморщивая свое личико до степени просто-таки невероятной. Она обнажает желтые зубы, «отдельно расположенные», как сказал бы Дубов, поясняя ориентиры перед выходом на задание. Глаза превращаются в две вишневые косточки, да и те тонут в сетке морщин. Ну и бабка! Соседки-старушки, желая сделать приятное, частенько говорят, что я очень на нее похож. Не может быть!

– У, черт подстреленный! – говорит бабка.

Зрелище это – улыбка бабки Серафимы – длится недолго. Думаю, что вообще оно никому в селе неизвестно, кроме меня, единственного внука. Выпив молока и сняв сапоги, но не раздеваясь, словно бы в согласии с уставом гарнизонной и караульной службы, падаю на постель, застеленную грубым цветастым рядном.

– Почты не было? – спрашиваю я.

Три мои заявления на имя райвоенкома ухнули словно в лесную чащобу. Даже переосвидетельствования не собираются делать, тыловые души! Не знаю, почему их смущают два метра вырезанных кишок. Как будто бы оставшегося метража мне не хватит. У человека, мне в госпитале сказали, девять метров толстого и тонкого кишечника.

Бабка не отвечает, гремит чугунами у печи.

– Так была почта или нет? – спрашиваю я.

Бабка гремит, двигает вьюшками, бьет в железную заслонку, как в барабан. Ох, не любит она почты. Неграмотная Серафима ревнует к ней и боится ее, ждет подвоха.

– Оглохли вы, Серафима?

То, что косулю убили, почему-то неприятно подействовало на меня. Двое их было, охотников, и один из них взвалил косулю на плечи и унес. Следы рассказали. На дороге остались отпечатки сапог и кровь. Много крови – наверняка одна из пуль угодила в сердце или артерию. Из автомата не так-то просто попасть в бегущую косулю. Видать, стрелял фронтовик. По какую сторону фронта воевал он? В нашем Полесье бродят всякие людишки. Леса здесь густые, богатые леса. Если кому-то придет в голову вздернуть на дубовом суку «ястребка», то вот он, сук, рядом, долго не надо искать:

– Серафима! Была почта?

Бабка шурует у печи, как паровозный кочегар, озаренная красными бликами, и насупленно молчит.

Рушники, наборы фотокарточек, иконы в красном углу, пучки трав, развешанные по стенкам на просушку метелки полыни, предохраняющие от блох, – все это начинает раздражать меня. Надоело мне в тылу!

– А, черт!

Я прыжком соскакиваю с кровати – только булькает парное молоко. К дьяволу надоевшую хату с метелками из полыни и блохами, которые не боятся ничего, кроме ногтей! Пойду куда-нибудь, может, на Грушевый хутор, к Сагайдачному, выслушивать разные философские изречения о жизни, можно даже к Варваре заглянуть – на что не решишься от тоски!.. Варвара тут же выставит на стол бутылку. В нее словно табачного дыма напустили, в эту бутылку, такой в Полесье сизый самогон, так несовершенны наши аппараты, которые сооружает великий изобретатель Крот, пользуясь автомобильными радиаторами, тормозными трубками и старыми казанами.

Хозяйка сядет напротив, уставится своими сливами. Попеленко утверждает, что Варвара проста и безотказна в обращении, как русская трехлинейка девяносто первого дробь тридцатого года. Впрочем, я не уверен, что в руках Попеленко русская трехлинейка безотказна. «Ястребок» всегда жалуется на неисправность и устарелость карабина, если бабы начинают попрекать его бандитами, что разгуливают в ближних лесах как у себя дома.

– Ты куда? – бабка Серафима встает перед дверью, держа ухват в положении «к ноге». – Куда это ты собрался, из-под рыжей кобылы яйца красть?.. Ну была почта, была, подавись ты ею, как старый Субоч рыбьей костью подавился!

И с этими словами бабка бросает ухват, лезет за Николая-угодника, самую высокую икону в красном углу, и достает сложенную вдвое розовую бумажку. «Ожинский райвоенком...» – и подпись крючком.

Повестка!..

– Серафима Ивановна, дайте я вас расцелую, нению!

Но бабка Серафима рыдает, вытирая лицо закопченной рукой.

3

В военкомате, в приемной, на лавках сидели мужики, курили в кулак, разглядывали плакаты, изображающие в виде уродов Гитлера, Геббельса и прочих, переговаривались. В назначенный час щелястая дверь открылась, и в приемную вошел парень, круглолицый, хорошей упитанности, с листком в руке. На гимнастерке, над правым карманчиком, у него были красная и желтая нашивки – свидетельство ранений.

– Капелюх есть? – осведомился он.

Не люблю, когда меня называют по фамилии. Дело в том, что «капелюх» означает «шляпа». Не очень-то это подходит для разведчика. Вот бывают же прекрасные, звучные фамилии: Загремивитер, скажем, или Небоягуз.

– Есть, – буркнул я.

– Вас ждут в райотделе НКГБ, – сказал парень, разглядывая список и собираясь вызвать следующего.

– Чего? – самым глупейшим образом переспросил я.

– В ЧК вас ждут, – сказал парень. – Пройдите, младший, в этом же доме, соседняя дверь. Это я и сам знал, что соседняя дверь.

– Слушай, земляк, а чего я им нужен, этим? – спросил я. – Мне же до вас повестка...

Тут парень впервые посмотрел на меня. Глаза у него были голубые, но с той легкой замутненностью, которая, по моему стойкому убеждению, приобреталась исключительно на канцелярской службе. Когда люди начинают существовать для тебя в списках, глаза обязательно затягивает – легкая поначалу – поволока. Эта поволока – как стеночка. У нас в дивизии был писарь Шаварыкин, так он, пока медленно поднимал свои красивые воловьи очи, убивающие наповал штабных связисток, успевал построить настоящую кирпичную стенку. Быстро так – раз, раз, раз, по кирпичику, – и уже между тобой и им стенка, и сразу ясно, что такие, как ты, у него ходят в списках повзводно и поротно. Сразу иной масштаб мышления чувствуешь.

Но парень вдруг улыбнулся, открыл два ряда никелевых зубов, которые сияли, как бампера трофейных машин, и эта улыбка враз разрушила стеночку и вместе с ней мои стойкие представления о канцеляристах.

– Съедят они тебя, что ли? – сказал парень. – Иди, землячок!

С самыми неясными предчувствиями я открыл дверь, которая вела в райотдел НКГБ. Пока я шел лесной дорогой в Ожин, пока меня подвозили усатые попутные «дядьки» на нематаных подводах – от нас до Ожина около тридцати километров, – я успел набросать довольно живописный план моей встречи с военкомом. Конечно же меня должен был принять сам райвоенком. «Младший лейтенант! Мы получили ваши заявления с просьбой об отправке на фронт, в родную воинскую часть. Мы решили удовлетворить вашу просьбу. – Потом он подумает, потечески обнимет меня и скажет: – В добрый путь, товарищ... – Нет, не Капелюх, нет... – В добрый путь, лейтенант!»

Все могло бы быть красиво. И вот меня вызывают в ЧК, как какую-нибудь подозрительную личность.

В райотделе НКГБ, словно бы извиняясь за невнимательность райвоенкома, меня принял начальник отдела Гупан, гладко, не по военному времени, выбритый человек внушительных командирских размеров. Если бы у него не было на плечах подполковничьих погон, все равно он по одной лишь фигуре тянул на два просвета. Он был под стать старинному несгораемому шкафу, что стоял в кабинете. Мне показалось, что Гупан попал сюда из пограничников. У нас в разведке служили двое бывших пограничников, они чище всех брились: говорили, что так у них заведено.

Рядом с начальником сидели длиннолицый капитан с болезненными, слезящимися глазами и курносый юноша в большом, отцовском видаче, пиджаке с широченными ватными плечами, с белым воротничком навыпуск. Этот-то уж наверняка был из районного комсомола. Мне что-то не понравилось, что здесь сидит юнец с белым воротничком навыпуск. Вдруг показалось, что он собирается набирать старших пионервожатых для школ. Даже зябко как-то стало от этой мысли.

– Садитесь, Иван Николаевич, – сказал начальник райотдела, когда я отрапортовал.

Перед ним лежала тоненькая папочка, и он просматривал листочки. Огромные лапищи его были созданы не для бумаг. Он рассматривал бумаги осторожно, словно боясь повредить. Капитан тоже смотрел в листочки, склоняясь к плечу начальника. Юноша же уставился прямо

на меня и улыбался восторженно. По-моему, он хотел этим сказать, что все происходящее для меня и для него – большое, светлое и радостное событие в жизни. Это-то меня и пугало.

– Как вы себя чувствуете, младший лейтенант? – спросил капитан, продолжая искоса заглядывать в листочек. Конечно же это было мое личное дело. И там было записано не только мое имя-отчество, но и все, что положено, в том числе заключение врачей. Про два метра кишок и прочее. Так что валять дурака не имело смысла. Но...

– Чувствую себя очень хорошо, – сказал я. – Раны залечены. Готов на фронт. Честное слово!

– Сказывается операция? – спросил начальник райотдела.

– Нет.

– А осколочки?

– Нормально. Иногда, на погоду... Но могу и бегать, и прыгать. Все пройдет.

– Комсомолец? – выбухнул юноша.

– Комсомолец.

Юноша заулыбался пуще прежнего и победно оглядел капитана и начальника райотдела. Как будто он прежде и не догадывался, что я комсомолец, и теперь переживал буйную радость. Ему было лет шестнадцать.

– Вот что, Иван Николаевич, – сказал начальник отдела. – Мы с тобой люди взрослые, что мы будем в прятки играть... На фронт тебе пока нельзя. Кумекаешь? Надо еще подкрепить здоровье, отдохнуть в сельской местности, на воздухе. Знаешь, огурчики там, помидорчики, медок. Да и время хорошее, вересень стоит, бабье лето... хоть и холодноватое что-то. У нас есть другое задание. Боевое! Мы совместно с товарищами Овчухом и Абросимовым, – он кивнул в сторону капитана и юноши, – подбираем кадры бойцов истребительного батальона, «ястребков» попросту, по-народному говоря. Не скрываем – работа опасная. Официально батальон дислоцирован в Ожине, в райцентре, но нам приходится разбивать «ястребков» на небольшие... совсем небольшие группы и распределять по селам. Что делать? Людей нет... Фактически «ястребки» в селе – бойцы самообороны. Пока единственная защита от бандитов и опора Советской власти. Сам знаешь, как беспокойно в лесах. Фашисты ядовитые зернышки в нашу землю побросали. Волчьи ягодки после себя оставили. Предлагаем тебе должность старшего в вашем селе, взамен погибшего Штебленка.

Вот так-так!..

– Это, выходит... вроде милиционером?

Вот ведь влип. Узнали бы ребята в дивизии!

– А что, зазорно?

Тут я сообразил, что поступаю неосмотрительно, поддавшись первому чувству. С начальством надо держать ухо востро – это солдатское правило.

– Почему же? – спросил я. – Дело как раз ответственное. Думаю, не справлюсь. Тут надо кого-нибудь постарше.

Самое ужасное, что, хватаясь за первые попавшиеся доказательства непригодности к новому назначению, лихорадочно изобретая различные способы спасения, я понимал всю их бесплодность. Уговорят они меня, как пить дать уговорят. Их трое, а я всегда теряюсь в разговоре с начальством, даже если оно представлено в одном лице. Конечно, с юнцом я бы справился.

– Мне ведь двадцать лет... Сначала надо набраться фронтового опыта.

– Как раз ваш фронтовой опыт нас и привлекает, младший лейтенант, – сказал капитан с какой-то особой, хорошо поставленной профессиональной нежностью в голосе. – У нас ведь кто в «ястребках»? Больше необученные. Трудно с кадрами. Так вот, товарищ Капелюх.

«Начальник райотдела умнее, чем капитан, – подумал я. – Он меня зовет по имени-отчеству».

– У вас опыт разведчика... И вы – местный!

– Да какой из меня разведчик! – взмолился я. – Меня взяли, потому что городскую десятилетку окончил... Немецкие документы читаю. «Шпрехаю»... Мне ни разу не давали фрица пристукнуть... Чтоб своими руками. Так, издалека стрелял. Из автомата! Какой уж тут опыт! Вот у нас ребята в разведке были – это действительно! Мне бы у них сначала подучиться.

Что правда, то правда. От самых тяжелых дел Дубов меня почему-то оберегал. Ножа не давал. Стрелять-то я в них стрелял, видел, как падают, как умирают. Но так, чтобы ударить в живое, сойдясь... Дубов говорил, что такие задания он будет давать мне в крайнем случае, что это не для впечатлительных, от этого нервная система страдает.

Капитан усмехнулся и прошептал что-то на ухо начальнику райотдела. Мне стало совсем тоскливо, я понимал, что для них дело уже решенное, но они почему-то очень хотят, чтобы я сам согласился.

– К тому же я, собственно говоря, не местный. Просто здесь бабка живет. Ну, родился я здесь... В каникулы приезжал. Вообще-то я городской, учился в Киеве, школа номер шесть, на Советской площади...

Я говорил и боялся остановиться, потому что понимал – сомнут они меня, задавят и не видать мне ребят как своих ушей. Мне оставалось отстреливаться до последнего и надеяться на чудо.

– Ну вот что, Иван Николаевич, – сказал начальник райотдела, когда мои обоймы иссякли. – Я же к тебе не с приказом, а как старший товарищ. Как член ВКП(б) к комсомольцу, с просьбой и поручением: пособить народу на боевом участке. Не хочешь, силком не заставим. Нам которые из-под палки не нужны. Но на фронт тебе все равно дороги нет. Кумекаешь? Поступишь куда-нибудь работать... Пожалуйста! Завклубом... или инспектором райосвиты. Правда, Абросимов? – спросил он у комсомольского юноши.³

– Не сомневаюсь, что товарищ Капелюх выберет путь не тот, что протоптанней и легче, – ответил Абросимов, сияя, почти нараспев.

4

Ночевал я у этого юного комсомольского вожака с белым воротничком навывпуск. Он сам предложил. Я стоял у магазина с сидором, набитым положенным мне на ближайший месяц пайком. «Ястребки», как мне пояснили в райотделе, должны были получать кое-какое довольствие, чтоб оружие не падало из рук, и раз в месяц отовариваться в районном распределителе; я, конечно, отказываться не стал и получил три буханки черного хлеба, два кило пшенки и шмат старого сала. На плече у меня висел карабин номер 1624968. Расторопный инвалид из распределителя пообещал в следующий раз добавить сахару, тушенки и муки. «Ты заходи», – сказал он, попросив меня расписаться за неполученное. «Смотри, выживу, зайду», – сказал я. Он улыбнулся.

Автомата, конечно, не нашлось, хотя я и пытался уломать старшину-каптенармуса, который молча перебирал карабины в сейфе. О гранатах нечего было и заикаться, но меня это не очень беспокоило: я-то знал, сколько в нашем селе припрятано гранат. Инша – река рыбная. Кроме карабина я получил брезентовый ремень с подсумками, восемь обойм и фуражку. Сапог тоже не нашлось. Зато мне выдали красивое удостоверение с печатью.

Стоял я у магазина и соображал, куда бы податься на ночлег. Дело клонилось к вечеру, нечего было и думать добраться до села. Ночью по нашим дорогам не ездят. Можно было пойти в сарай, который назывался автобусной станцией, но я видел, что там делается. Беда в том, что Ожин выжгли еще в начале войны. Здесь были казармы, и немецкая авиация, набросав «фона-

³ Районный отдел народного образования.

рей» в ночном небе, сделала из города костер. Бомбили небось неприцельно, по квадратам. Теперь большая часть Ожина состояла из печных труб, которые торчали как стволы невиданной величины зениток; город как будто с запоздалой готовностью собирался отразить новый налет. Но фрицы сюда уже не залетали.

Опыт подсказывал мне, что в таких местечках пустят на ночлег более охотно, чем в уцелевших, благополучных, но проситься в дом для меня было всегда мучительно. Кукаркин, тот у нас в разведке был большой спец по этой части, он действовал решительно, по-суворовски: «А что, хозяйка, не найдется ли среди ваших горшков местечка для моего котелка?» Или: «Разрешите моим чеботам переночевать под вашей лавкой?» Он ловкий был парень и, случалось, утром выходил с хозяйкиной половины, шурясь как кот. По-моему, военная жизнь доставляла ему определенное наслаждение.

Когда этот юный Абросимов легонько толкнул меня в плечо, я особой радости не испытал. Чем-то он меня раздражал, улыбкой, что ли? В нем чувствовался некоторый избыток усердия, а когда повоюешь, насмотришься на всякое, начинаешь понимать, что избыток усердия страшнее лени. На фронте быстро взрослеешь, недаром там год засчитывается за три. Он улыбался, Абросимов. Теперь на нем поверх пиджачка была надета куртка желтой кожи, сильно повытертая в складках. На правом плече белела проплешина – от ружейного ремня, что ли? Отцовская, наверно, была курточка, очень широкая, просторная; если бы у Абросимова был братишка-близнец, то они могли бы носить ее вдвоем, зараз. Конечно же Абросимов полагал, что кожаная куртка придает ему комиссарский вид. Все мы прошли через это... В военкомат в сорок первом я тоже пришел в кожанке, которую тут же, по выходе, отдал хозяину, другу Витьке.

– Вы, наверно, кого-нибудь ждете, товарищ Капелюх? – спросил Абросимов.

– Жду, – сказал я, недовольный этим обращением. – Может, трамвай подойдет.

– Хм! – смутился он. – Это шутка? Знаете, мы сегодня семь человек приняли в «ястребки». И все замечательные ребята. Комсомольцы! Знаете, решили покончить с бандитизмом в районе.

– Это здорово! – сказал я.

– Вы не переживайте, товарищ Капелюх! У нас тут, можно сказать, как на фронте: боевая обстановка. И товарищи будут. Мы вам поможем, товарищ Капелюх!

– Это здорово... Что ты заладил: «Капелюх», «Капелюх»! Знаю, что Капелюх.

– Извините, – смутился он, но тут же вернулся к прежнему восторженному тону: – Знаете что? Пойдемте ко мне в гости. А может, вы согласитесь у нас переночевать, а? Чего вам спешить? Надеюсь, вам не повредит эта задержка?

– Ладно, – буркнул я. – Конечно, времени мало... Ну ладно! – И пошел за ним, придерживая сидор, прыгавший на спине.

Абросимов оглядывался и поправлял свою желтую кожанку. Он несколько раз провел ладонью по правому плечу, где светлела проплешина от ружейного ремня, словно бы стараясь скрыть этот след боевого прошлого... Но меня ему было не провести. Всего лишь четыре года отделяли меня от Абросимова. Я знал все эти штучки.

Первым делом он показал мне свой ТТ. Подышал на него, протер и протянул на ладони.

– Это нам выдали... Ведь придется разъезжать по району... Возможны, – он перешел на шепот, – боевые столкновения.

По-моему, ТТ этот выбраковали при инвентаризации в армии. Ствол был изъеден раковинами, и механизм спуска заедало. Но Абросимов очень гордился оружием, и я не стал обижать хозяина.

– Я прямо из девятого класса пошел на комсомольскую работу, – рассказывал Абросимов. – Учиться буду по вечерам. Сейчас ведь не до этого, правда? Сами понимаете, как трудно с кадрами... Война!

– Да, война, – согласился я.

Потом мы пили чай с сахарином. Абросимов познакомил меня с матерью и сестрой. Сестренке было лет пятнадцать, самый вредный, по-моему, возраст, когда не знаешь, как с ними обращаться: то ли девушка, то ли девочка. Она была бледненькая и очень серьезная, наверное, какая-нибудь там отличница. Ну как же давно это было: школа. Девчонка смотрела на меня во все глаза, а я не знал, о чем с ней заговорить. И с матерью Абросимова я тоже не знал, о чем говорить. Она была учительница. Если перед тобой учительница, то всегда можно, по одному движению, или слову, или взгляду, догадаться, хорошая это учительница или нет, любят ее в классе или не любят, или, может быть, делают вид, что любят. Так вот, мать Абросимова была хорошая учительница, в этом не приходилось сомневаться. Тощенькая, глазастая, но очень спокойная и добрая. Такие никогда не притворяются, а хуже нет, если учитель хочет притвориться в классе не тем человеком, какой он на самом деле: робкий, а с учениками намерен быть решительным и смелым; нелюдимый, а строит общительного. Ребята в школе быстрые, сразу распознают. Они многое могут простить, а ложь и притворство – нет. Зато хорошую, открытую душу, пусть со слабостями, полюбят без оговорок. С расстояния мне было все это хорошо понятно. Время разъяснило. Я даже позавидовал Абросимову. Славная у него была мать. Когда я по неосторожности просыпал сахарин из облатки, она так тихо и одобрительно улыбнулась мне: мол, не горюй...

Вот только я не знал, о чем с ней говорить, и потому смущался. За время войны я все забыл о школе, почти все. Помнил, кажется, только лица людей, а о чем говорили, чему учили – забыл начисто. Немецкий, конечно, еще держался, потому что практика была. Но по-немецки за столом не поговоришь, тем более практика у меня была особая: «Отвечать немедленно!», «Когда прибыл полк?», «Кто твой командир?», «Не строй из себя немого, ублюдок!», «Ползи впереди!».

Ночью Абросимов – мы спали на полу в углу комнаты, а мать с дочкой на единственной кровати – толкнул меня и прошептал:

– Я ведь тоже на фронт просился... Не пустили!

Ему очень хотелось поговорить по душам, но я притворился, будто сплю. Мне не до него было. Этот день многое сломал в моей жизни, и я понимал, что старое ушло и теперь все пойдет по-другому. Выходило, что до конца войны, а то и дольше сидеть мне в селе Глухары с карабином № 1624968 и охранять мирный труд бабки Серафимы и прочих там. Начальник райотдела, прощаясь, сказал, что мой долг отныне – стоять на страже *Закона* и *Порядка*. Ну, не допускать перегибов, ни в чем не ущемлять достоинства советского гражданина, так много пережившего в годы оккупации, но при этом уметь отличать друзей от врагов. И еще – при опросах быть вежливым, не кричать, не пугать, не грозить.

– В общем, – сказал Гупан, – у тебя почетная миссия.

Должен же он был что-то сказать на прощание. Закон – это какие-то статьи в толстых и пыльных книгах. При слове «закон» мне всегда вспоминалась сумрачная комнатка в загсе, куда мы с матерью еще до войны приходили получать выписку из метрической книги. Мама потеряла метрику, сначала метрику, а потом и меня – это когда она вышла замуж, вручила меня бабке Серафиме и отбыла. В тот день нас здорово намучили в загсе. Прокуренная старушка, у которой от табака голос стал почти как у Шаляпина, перерыла все книги, толстенные и пыльные. «Все должно быть по Закону». С тех пор мне стало казаться, что закон спрятан в толстенной книге и никто толком не знает, как его оттуда извлечь, и, вообще, возиться с законом – занятие для прокуренных старушек, у которых на верхней губе желтые усы. Два года на фронте не изменили моего отношения к законам. Кстати, старушка так долго рылась в книгах потому, что все перепутала и искала меня по фамилии отца, тогда как у меня фамилия матери. Мама у меня тоже Капелюх. Изабелла Капелюх – это же надо было придумать! Бабка Серафима уверяла, что до шестнадцати лет мою маму звали Параской – у нас в Полесье

такое имя не редкость. Но, уехав в город и поступив в загадочное учебное заведение под названием «трудшкола», мама, дочь бедного крестьянина, стала Изабеллой. Фамилия же у отца была якобы Беспудников, и я знал от мамы, что это отважнейший летчик, погибший при покорении Арктики. Я изучил всех покорителей Арктики, но Беспудникова среди них не нашел. Вообще, туманная была история с моим отцом. Что-то там было как-то не по закону. Куда-то он исчез, даже фотографий его я у матери не видел. А потом мать вышла замуж и оформила этот брак законным путем.

Страж *Закона*. До сих пор я знал один ясный и четкий закон военного товарищества. В нем не было ничего сложного, ничего книжного и путаного. Дубов, который тащил меня по полю, до того никаких законов не проходил. Тащил, и все. Хотя и в нем самом сидел осколок, перебивший ключицу. Но сейчас речь шла об иных законах.

Утром, прощаясь, Абросимов сказал мне:

– Знаешь, я к тебе приеду. В Глухары. Знаешь, вдруг возникнут какие-нибудь трудности, надо будет помочь. Дело для тебя новое, а мы тут обобщим кое-какой опыт по «ястребкам»... Наметим пути, поставим задачи!

– Валяй, – сказал я. – Ты человек вооруженный...

Он принял это всерьез, слишком уж он гордился своим ТТ и кожаной курткой. Лучше бы я обругал Абросимова, чтобы это его желание – навестить меня в далеких Глухарях – завяло на корню. Но я слишком был поглощен своими мыслями.

– Мы будем дружить! – крикнул на прощание Абросимов.

Он стоял на пороге своей хибары в небрежно накинутой на плечи курточке желтой кожи с проплешиной на плече, и воротничок его белой рубахи трепетал на ветру. За ночь мама успела выстирать и отгладить рубашку, чтобы сынок мог достойно выглядеть в райкоме. Наверно, мама-учительница очень гордилась своим правильным и умным сыном.

5

Кривой старикашка встретился мне на Глухарском шляхе. Он возил в Ожин картошку и теперь возвращался навеселе. Орал он во всю глотку про Галю молодую, и тощее его тело прыгало на пустых грязных лантухах, подстеленных на днище телеги.

– Стой! – заорал он лошади, увидев меня. – Человек на дороге, берем человека!

Единственный глаз его сверкал, как у драчливого петуха. Я не удивился бы, если бы он оказался еще вдобавок одноруким или одноногим. Все мужское население в наших местах крепко отличалось по части дефектов – скрытых или явных. Неувечные были на фронте, а в селах оставались, как говорила Серафима, «одни сторожа» – в ее представлении сторожем мог быть только инвалид.

– За кого воюем? – спросил старикашка, скосив глаз на мой карабин.

– А тебе за кого надо?

– Э!.. – старик погрозил мне черным пальцем. – Мы и так пуганые. Нам все равно. Вшисткоедно!

– Ну, тогда вези и помалкивай. Про Галю дома споешь.

Если бы кто-либо из бандюг захотел проверить, кто это там голосит на дороге, карабин вряд ли выручил бы. А мне не хотелось, чтобы моя новая карьера оборвалась в самом начале. Это было бы неавторитетно, что ли, и повредило бы репутации бывших разведчиков.

Лес, который сжимал с обеих сторон песчаный шлях, словно бы изменился с тех пор, как я побывал в Ожине. Он посуровел, потемнел, хотя день выдался легкий и прозрачный; он приобрел иные свойства, как только у меня завелось удостоверение, подписанное ожинским начальством, а на плече повис карабин. Глауберову посадку – был у нас такой лесничий, немец

Глаубер, – где я хотел на обратной дороге набрать опять, мы проехали не останавливаясь. Ну их к дьяволу, эти опять. До Глухаров было еще далеко, а сумерки приближались.

Мы спустились в долину Инши, и сосняк сменился осинником. Он был разноцветным, на каждом листе будто кто-то опробовал новую краску. Плотные, жесткие листья переливались и словно подмаргивали. У нас в Полесье осинник не любят – пустое дерево. Ни на поделки оно не идет, ни на дрова, разве что на спички. «Иудино», как известно, дерево, проклятое. Мне же осинник всегда нравился. Без него наши леса поскучнели бы. Осина – говорливая, даже в тихий день она о чем-то бормочет, играя листьями, с ней весело...

Сейчас я прислушивался к шелесту осиновых листьев настороженно. Даже сквозь повизгиванье колесных втулок и глухие удары копыт был слышен невнятный разговор деревьев, их вкрадчивый шепоток: «шур-шур-шур-шур...» Места пошли болотные, запахло сыростью и мятой. Осенняя паутина летала высоко над головой, поблескивая в неярких солнечных лучах. Телега въехала на полуразвалившуюся гать и, стуча колесами, кренясь, потрескивая, покати-лась в сторону реки Инши.

Вот на этой Иншинской, лопнувшей как гнилая нитка, гати связь нашего лесного рай-она с цивилизацией, воплощением которой являлся полусожженный Ожин, обрывалась. Ни один автомобиль не смог бы переправиться через Иншу, потому что подходы к реке были забо-лочены. Когда-то, до войны, гать поддерживалась и по ней ходили «летучки» – полуторки с газогенераторными колонками по бокам кабины. Шоферы то и дело останавливали машины, кидали загодя заготовленные чурки в эти свои черные колонки, раздували гаснувший огонь и кляли изобретателя, вздумавшего экономить бензин.

С той мирной поры гать не один раз бомбили и ломали гусеницами танков, и в конце концов она стала проезжей только для таких легких драбинок, как у кривого старика.

Но даже и эта драбинка возле Бояркина ключа застряла, и мне пришлось подталкивать ее плечом. Хитрый старикашка тоже делал вид, что толкает. Пришлось постараться. Не станешь же рассказывать каждому встречному, сколько осколков извлекли из твоего живота, а сколько не успели извлечь. Обстоятельства эти сугубо личные.

Наконец колеса, попавшие между полусгнившими бревнами, снова вернулись на настил, и телега попрыгала дальше. Мы преодолели гать и пологим песчаным бережком спустились к самой реке. Инша здесь разливается плесом, и ее обычно переезжают вброд, разве что осеннее или весеннее половодье не даст.

Старикашка пустил лошадь в воду, дал ей напиться и засвистел. Не знаю как где, но у нас в Полесье всегда почему-то свистят, когда хотят, чтобы лошадь напилась и заодно помо-чилась. И лошади к этому приучены. Кобыла у старикашки не была исключением, она поста-ралась. По Инше поплыла густая пахучая пена. Так мы отметили переправу: свистом и пеной. Это торжественное событие следовало бы запомнить – я пересекал некую не отмеченную, но очень важную границу. За пределами Инши я больше не мог рассчитывать ни на чью помощь, по крайней мере срочную помощь. Дальше не было ни телефонной связи, ни сколько-нибудь сносных дорог. Глядя на высокий пагорб на том берегу, выделявшийся среди ровного, порос-шего верболозом пространства, я подумал, что это и есть самой природой поставленный погра-ничный столб, обозначающий начало наших необъятных лесов.⁴

Дедок, посвистывая, подождал, когда кобыла справится со всеми своими делами, и дер-нул вожжи. Мы переехали речку, по которой уже плыли, крутясь, узкие ивовые листья и округ-лые, как пятаки, желтые листья берез.

Напрягая сухожилия, лошадь вытащила телегу на крутой правый берег Инши. Дальше дорога раздваивалась, более торная шла, огибая песчаный пагорб, налево, к большому селу

⁴ Холм.

Мишкольцы. Крутобокий пагорб, проросший поверху чахлыми березками и сосенками, был идеальным местом для НП. Это обстоятельство я отметил машинально, по привычке.

– Ну, мне налево, – сказал дедок. – А вам, вооруженный товарищ, куда?

В голосе его слышалась обида. Мы ехали часа два или три, и за это время он мог бы спеть много славных песен – и про Галю молодую, и про Дорошенка, и про три вербы.

– Слушай, отец! – сказал я, спрыгнув с телеги. – А приходилось тебе встречаться здесь с бандитами? Ну, на этой дороге?

Жаль мне было отпускать этого бывалого, тертого старичка, не узнав ничего.

– С бандитами? – Глаз его косо и настороженно скользнул по моему карабину. – Не...

Вооруженные люди попадались, случалось. Вот вроде вас.

– А где попадались? В каком месте?

– Да разве ж я упомяну? Память стариковская... Вот вы с воза соскочили, я вас и забыл.

И он тронул в сторону Мишкольцев. Через минуту до меня донеслось: «Ой ты, Галя, Галя молодая, чому ты не вмерла, як була малая!»

И тут я впервые понял: мои отношения с полещанами будут теперь складываться сложно, ох как сложно! До вчерашнего дня я был их земляком, внуком известной ругательницы бабки Серафимы, приехавшим на побывку после ранения. Я был вправе рассчитывать на симпатию и откровенность. От меня никто ничего не скрывал. Никто не находился от меня в зависимости, и сам я не зависел ни от кого. Со мной говорили в открытую, не хитря.

Вскоре песня про Галю стихла вдали. Я постоял, прислушиваясь: не едет ли кто со стороны Ожина. Но было тихо, и я, взвалив сидор на плечо, поковылял по усыпанной хвоей обочине. От Инши до Глухаров было километров восемнадцать. Впереди вставал вековой сосновый бор. Я оглянулся. Прощай, Инша, прощай, Ожин. Прощай, песчаный холм, господствующая высотка на никем не отмеченной границе.

Не знаю, случайно ли это произошло или в том было какое-то предзнаменование, но остановился я на передых в Шарой роще, километрах в пяти от Глухаров. Идти дальше уже не было сил. Не думая больше о бандюгах, я бросил на землю карабин, сидор и улегся рядом. Дело в том, что я не могу долго идти пешком – кишки начинают ныть. И так противно ноют, как будто в глубине тела тяжелые окованные жернова жуют новину. И с каждым шагом они все тяжелеют и тяжелеют.

Я лежал – и жернова постепенно замедляли свой ход, как в ветряном млыне, когда к вечерней зорьке стихает ветер. Лес снова вернулся на свое место, я стал замечать все, что окружало меня. Дубы в Шарой роще обступали петлявую дорогу нестройной толпой. Листья на них держались еще прочно, только сжелтелись слегка, и желуди устилали землю плотным слоем. Солнце уже угасло, светились только высокие легкие облака. Паутина, поднятая теплыми токами воздуха, теперь снова опускалась на землю, и я снял с лица несколько липучих легких нитей.

Какой-то запоздалый желудь сорвался с ветки над моей головой и, звонко ударившись о ствол карабина, отрикошетил в сторону. Майский жук, обманутый теплом бабьего лета, забился вдруг в ветвях. Звуки эти вновь насторожили меня. В гудении жука, таком непривычном для сентябрьской поры, в металлическом звоне карабина как будто звучало предостережение, призыв к какому-то очень важному воспоминанию.

Залитый кровью след упавшей косули, следы тяжелых армейских сапог? Нет-нет... Я обвел взглядом кудлатые огромные дубы, нависавшие надо мной как горы. Верхушки их еще светились слегка желто-розовым, а нижние, самые тяжелые и могучие ветви были темны. Остро запахло вечерней сыростью и прелым листом. Снова протрещал в ветвях желудь.

Я поднял голову. Надо мной нависал черный, обгоревший сук, – видно, когда-то молния ударила в дуб, но дерево оправилось, зеленые побеги скрыли черноту ожогов, и только один крюкастый сук тянулся из ветвей, как хищная птичья лапа.

И тут я вспомнил. Штебленок! Его повесили здесь, в Шарой роще, недалеко от дороги. Может быть, на этом самом суку. Я плохо знал Штебленка, видел его однажды, когда он заходил к бабке справиться, с какого это фронта я прибыл на побывку. Я показывал ему документы. Штебленок был мрачен, долговяз, то и дело кашлял; говорили, что долго ему не протянуть. Но умер он все-таки не своей смертью. Умер он оттого, что ему на шею накинута петля и подтянута к суку.

Нельзя сказать, что Глухары тяжело переживали его смерть. За военные годы к смертям вообще притерпелись, а главное, Штебленок был пришлый человек, его специально назначили в помощь «ястребку» Попеленко, потому что одной из задач «ястребков» была борьба с самогонварением, а в этом деле Попеленко был явно слабоват. Запах самогонки, особенно пшеничной, лишал его самообладания и мужества, это знали все. Но даже если бы Попеленко и не имел этой простительной, с точки зрения глухарчан, слабости, все равно ему не справиться было с местными самогонщиками, потому что все они приходились ему кумовьями, сватами, крестными и так далее. Говорили, что именно поэтому с белорусской стороны Полесья, из-за болот, прислали Штебленка.

Нет, я не знал Штебленка и не очень-то задумывался над тем, кто и как подстерег его, когда он шел через Шарую рощу. Ясно, что повесили его не обиженные самогонщики. Самогонщики могут клясть, призывать на голову своего недруга лихоманку, трясучку, тиф, холеру, всякие редкие, даже неприличные болезни, но никогда не накинута на шею петля. Петлю накинута лесные бандюги, привычные к таким делам, недавние полицаи и каратели. Только они могли это сделать.

Выходило так, что в этой самой Шарой роще вместе со смертью почти не знакомого мне Штебленка была решена и моя судьба, потому что сейчас я занимал его место и должен был продолжать то, чего он не успел сделать. Оказывается, мы с ним стояли на одних мостках, однако не знали этого.

Я еще раз взглянул на черный сук. Мне показалось, что он стал ниже и когстистее. Инстинктивно я подтянул к себе карабин, передернул затвор. Прохладный сумеречный ветерок потянул по роще, жесткие дубовые листья коротко проскрежетали, сорвалось еще несколько желудей. На дальний суховершинный дубок сел ворон, черный крук, самая мрачная и злоеющая птица в Полесье, прокричал что-то, как испорченный репродуктор, и замахал крыльями. Круков развелось в наших лесах, как никогда, они бродили по местам боев, проверяли, где размыло дождем поспешно устроенные фронтовые могилы.

Через несколько секунд сидор подпрыгивал на моей спине в такт неровной походке, а карабин, взятый под мышку, высматривал дулом дорогу. Сумерки быстро вползали в лес, тень накрывала просеку, которая вела к Глухарам.

«Почему они повесили именно Штебленка? – размышлял я, оглядываясь по сторонам. – Потому, что он «ястребок»? Но Попеленко жив. И, кажется, не очень-то боится. Раз в месяц отправляется в Ожин за «усиленным питанием». Спит по ночам, не опасаясь, что однажды ночью ему высадят окна и двери и попросят пройти до ближайшего леска...»

Черный крук пронесся над моей головой, со свистом разрезая воздух большими, сильными крыльями. Он прокричал что-то, словно по жести процарапал когтями, и полетел к какой-то одному ему известной цели.

Глава вторая

1

– Ай, боже ж мой, боже! – причитала бабка Серафима. – Да за что ж это тебя? Да чтоб им, душегубам, дрючком руки-ноги переломало! Да чтоб им на том свете ни дна ни покрывки!.. Отзовется, отзовется им! Бог не теля, видит крутеля! Даст им жаба титьку, ой даст!

Это она, очевидно, в адрес начальника райотдела НКГБ товарища Гупана высказывалась. Бабка Серафима, едва успев заметить карабин и ремень с подсумками, сразу догадалась, в чем дело. Мое назначение конечно же ее не обрадовало. Она стояла посреди двора, опустив к ногам дежку с горячей мешанкой для кабанчика Яшки, и, окутанная паром, походила на ведьму, выскочившую из-под земли. Большой грубый платок закрывал голову бабуся, оставляя лишь небольшую амбразуру, из которой выглядывало смуглое сморщенное личико. Бабка повела беглый огонь, ее просто трясло. В Глухарах это называлось: «Серафима раздрюкачилась». В такие минуты жители села предпочитали обходить наш дом стороной, бабка не считалась ни с кем, и ни одна молодуха, даже самая бойкая и злая, не могла переругать Серафиму. До войны мою бабуся вообще старались не пускать на колхозные собрания, особенно после того, как она, не стесняясь в выражениях и жестах, вступила в полемику с председателем райисполкома товарищем Пентухом, человеком сельским, простым и парнем не промах, который, однако ж, перед бабкой спасовал.

Я смиренно стоял посреди двора, опершись на карабин и выжидая, когда иссякнет запас пара.

Нелестно охарактеризовав районных начальников, которые явно вознамерились загубить «бидну дытыну», бабуся перешла к разбору моих недостатков:

– А ты чего поперся? Ты ж дальше ноги не сикаешь, черт, у тебя ж молоко на губах не обсохло, тебя ж немцы, как петуха, общипали, тебе надо задницу на печи греть!.. Из тебя «ястребок» как из собачьего хвоста сито! Ты ж культыгаешь, как ломаное колесо!

Я наконец дождался, когда ругательства стали перемежаться слезами, и сказал:

– Пойдемте, бабуся, в дом. Темно уже. А я сала принес.

В эту-то минуту из-за тына и выглянул Попеленко. В полной боевой форме, с карабином, в немецком френче, широченных галифе и кирзачах, он примчался ко мне на выручку и, согнувшись, выжидал за тыном. В Глухарах видели, что я вернулся с оружием, и беспроволочный телеграф заработал всюю.

– А мне люди сказали: «Капелюх в «ястребки» записался», – прошептал Попеленко. – Идем ко мне. Ты «усиленное питание» получил? А то у меня закуски нема...

Он стоял за тыном – маленький, плотный, круглолицый, – олицетворение боевитости и надежности славного отряда «ястребков».

Закуска, конечно, у Попеленко была, но он решил опередить события, чтобы не упустить небольшую материальную выгоду, которую сулило мое появление в Глухарах с увесистым сидором за плечами. В отношении всяких мелких материальных выгод Попеленко был предусмотрителен, как шахматист – видел на много ходов вперед. Так он вел все свое хозяйство; можно было с уверенностью сказать, что, покупая новые тебенки для седла, он уже знал, что через пять лет, когда те придут в негодность, нарежет из них подбойки для валенок своего младшего наследника, а оставшуюся часть кожи обменяет у соседки на капустную рассадку, о чем и договорится заранее.

Одно извиняло Попеленко: девять ртов, которые по-птичьи раскрывались при появлении главы семейства. Десятый рот всегда был прикрыт наглухо: жена «ястребка», Попеленчиха, отличалась молчаливостью, желтизной и костлявостью. Серафима называла ее «мумий». Утверждали, что Попеленчиха молчала, даже когда лупила мужа, если тот возвращался с большим перебором. Такая излишняя молчаливость при выполнении важных домашних обязанностей осуждалась жительницами Глухаров – бабы у нас любили покричать для авторитета.

Итак, как только Попеленко торжественно ввел меня в хату, пришлось отрезать от сала двенадцать ломтей и на столько же частей разделить одну из буханок. «Ястребок» зажег плошку и турнул из-за стола детей, которые, захватив добычу, забились в темный угол – на полати. Косясь на жену, которая стояла у двери, скрестив руки, Попеленко движением фокусника достал бутылку самогонки – сделал он это мгновенно, точно носил бутылку за голенищем, – с чавканьем извлек из горлышка кукурузную кочерыжку, заменявшую пробку, и налил в кружки. Круглое хитрое лицо Попеленко просветлело и как бы умаслилось. Он крякнул и вытер ладони о френч.

– Ну, будем! За нашу, можно сказать, боевую дружбу и дальнейшее товарищество. За полную и окончательную победу над гитлеровской Германией!

Своим тостом Попеленко хотел показать, что закуска потрачена не зря, что она послужила, так сказать, великим целям и сожалеть о ней – политическая незрелость. Я понюхал самогон. Он отдавал гнилой свеклой.

Я подождал, когда Попеленко поставит кружку на стол. После ранения мне легко было числиться в принципиальных противниках алкоголя.

– Я назначен твоим начальником, Попеленко, – сказал я.

– Само собой! Политически правильно.

– Почему само собой?

– Чего же меня старшим назначать? За что? Я героизма не делал никакого, военной образованности не имею... – Глаз его хитро сощурился. – Можно, товарищ младший лейтенант, я вас теперь так и буду звать: товарищ старший?

– Ты ладно... Зубы не заговаривай. Напоминаю, что за невыполнение приказа «ястребки» подлежат трибуналу. Как положено в военное время!

– Хм...

– Самогонку реквизировал?

– Хм...

– Если ты будешь продолжать такие реквизиции, пойду на крайние меры.

– Добре! – согласился Попеленко с готовностью.

Должно быть, Штебленок уже делал ему подобные предупреждения. Начальство есть начальство, это его обязанность – отчитывать, предупреждать, выносить взыскания. Попеленко это понимал, как понимал и то, что начальство не вечно остается на своем месте: оно перемещается, понижается, повышается и так далее, в отличие от него, рядового «ястребка», ни на что не претендующего, кроме права жить, работать и помереть в своих родных Глухарях. Кроме того, за мной незримо стояла тень Штебленка, за мной покачивалась переброшенная через сук веревка с петлей, так что все самые строгие приказы не имели достаточно твердой и долгосрочной основы. И Попеленко с легким сердцем убрал со стола бутылку и принялся за сало. Белые его ровные зубы впились в розоватую мякоть.

– Я так думаю, товарищ Капелюх, – сказал он доверительно, – что стоящие на сегодня перед нами большие задачи мы выполним.

– Ты мне газеты не читай, – сказал я. – Какие задачи, поясни своим языком.

– Ну, чтоб люди на селе спокойно работали... – Он задумался. – Чтоб продукты подвозили в сельпо... И... И... Чтоб Советская власть на селе крепла!

– Ну а за селом?

– А что я, батька Боженко со своей дивизией? Чем я лес прочешу, пальцами? Вот добьют германцев и за бандюг возьмутся. Тут же войско нужно, ого! Чего же зря себя губить? И так скоро мужиков не останется. Какая ж будет жизнь без мужиков? Вы вот так вот, товарищ старший, подумайте толком, представьте себе...

Маленькие «попеленята» глазели на нас из темного угла, как из норы. Там для них были сооружены полаты в два этажа, поближе к печи, и они забились туда, в это убежище, прикрывшись тряпьем – только глазенки сверкали. Один лишь старший, Васька, по прозвищу Шмаркатый, держался особняком от детворы и прислушивался к нам. Хозяйка молча продолжала стоять у дверей. Разговоры наши ее как будто не интересовали – балакайте, балакайте, а жизнь все равно пойдет своим чередом, и дети будут рождаться, стреляй не стреляй, воюй не воюй.⁵

– Зачем ты пошел в «ястребки», Попеленко? Заставили?

– Нет, зачем же... Я сам. Я Советскую власть всегда поддерживал. И когда колхозы... Курей обществу отдал, козу... Кролей штук двадцать... И партизанам помогал... Я ж понимаю! Политически!

Он, кажется, немного испугался.

– Так-так... Ну а с бандитами сталкивался?

Вопрос был, конечно, глупый. Если бы мой новый подчиненный сталкивался с бандитами, он бы сейчас не беседовал со мной при свете плошки за дощатым столом. Но Попеленко оглянулся на жену, наклонился ко мне и прошептал:

– Сталкивался. Вот как с вами сталкиваюсь, так я с этими аспидами сталкивался.

– То есть как? За столом?

– Не-е... Чего это за столом? В лесу. Я хочу сказать, что близко. Очи в очи.

– Да ты что?

– Да чтоб мне до дому не дойти... Ой, это ж мы дома сидим! Ехал я на своей Лебедке по Мишкольскому шляху... где подсочный сосняк. Ну, выскочили они с двух сторон. Один – лошадь под уздцы, а двое – с боков. Карабин за плечами, разве его скинешь? Да и чего сделаешь против них? Такие аспиды! Я аж похолодел весь. «Ну, – думаю, – еще девять сирот на шее у Советского государства! Это ж не годится мне такую семейству на казну спихивать».

– Ты кончай дурака валять, – сказал я. – Ты не строй комедию, Чарли Чаплин... Как они выглядели?

– Обыкновенно. Здоровые дядьки. Один молодой, совсем еще парубок. Вот тут у них, – он показал на грудь, – по автомату немецкому, в голенищах – обоймы, еще при кобурах, при пистолетах, гранаты в сумках... Приличное у них обеспечение. И морды сытые. Смеются!

– Почему смеются?

– А чего им горевать? Не я же их поймал, а они меня. «Ты, что ли, – спрашивают, – «ястребок»?» – «Ну я!» А чего отпираться? В кармане у меня бумага с печатью. «Так это ты, – говорят, – против нас тут воюешь?» – «Ну я!» – говорю. Сняли они с меня карабин, ссадили с лошади, достали бумагу, почитали. «Не поддельная, – говорят, – бумага, подпись Гупана мы знаем, все правильно». Я думаю: будут они с меня сапоги снимать или нет? Сапоги не казенные, хорошие, если не снимут, старшему, Ваське, достанутся, когда меня найдут. Лошадь, думаю, ладно, лошадь все равно государственная, ей в казну возвращаться... Хотя, конечно, лошадь тоже жалко, – поспешно поправился Попеленко. – Ну, тут они выкинули из карабина обойму, отдали мне мое личное оружие. «Садись, – говорят, – на свою клячу и скачи назад, а то дети дома плачут. Нам, – говорят, – голову тебе оторвать – как огурец перекусить. Только мы украинцев, которые многодетные и аккуратны держатся, мы таких не давим, а по первому разу пояснения даем... Ты нас пойми!» «Пояснили» они мне по морде раза три и отпустили. «Только, – говорят, – не оглядывайся, мы этого не любим, у наших автоматов сильно легкий

⁵ Сопливый.

спуск». Скачу я и думаю: может, и в самом деле врежут в спину, да только нет, не будут: зачем же им лошадь портить? Ведь хозяйственные же люди, по амуниции видно.

– Так! – сказал я и стукнул по столу. – И ты об этом никому не сказал?

– Доложил Штебленку.

– А он?

– Он, так я думаю, – Попеленко снова склонился ко мне, – никому не сказал, чтоб мне по шее не дали. Он добрый был мужик.

– А почему они его повесили, а тебя отпустили, как ты думаешь?

Попеленко пожал плечами:

– Да кто ж его знает? Ведь как вожжа под хвост попадет. А может, он им чего обидное сказал. Он рискованный был... Боевой!

«Зато ты боягуз!» – хотелось сказать мне, но девять пар глаз, глядящих из темного угла, удержали меня.

Попеленко посмотрел под стол, где стояла бутылка, перевел взгляд на меня и вздохнул:

– Ох и переживание было. Опять руки затряслись!..

– Сколько их было? – спросил я.

– От четырех до десяти, – сказал Попеленко. – Момент был такой, что никак не мог пересчитать. Всю арифметику из головы вышибло.

– Ты никого из них не узнал?

– Нет, никого. Они не местные. Видать, тот, кого б я узнал, в сторонке был, за кусточком.

– Почему ты так думаешь?

– Так должен быть кто-то из местных. Чего б они возле села отирались? И опять-таки, кормит их кто-то. Ведь ни разу не слышать было, чтоб кого ограбили. Что ж они, святым духом живы? Кто-то кормит... Факт! И обстирывает – рубашки на них были чистые, воротнички не замусоленные. Мужик так не постирает. Я, скажем, постираю или баба, – он с уважением посмотрел в сторону молчаливой жены, – это ж разница!

– На косулей охотятся, – сказал я невпопад, вспомнив стрельбу возле «предбанника».

– Одной косулей не будешь сыт, – солидно ответил Попеленко. – И не косуля их обстирывает. Кто-то местный есть среди них. И к местному кто-то ходит, факт!..

– Ишь ты наблюдатель какой! – сказал я. – Воротнички заметил, а посчитать забыл.

– Глаз, он в такой момент не подчиняется, – сказал Попеленко. – Он как нищий – копейку видит, а руку нет. Да и нет у меня военной хватки. Вот вы, к примеру, товарищ старший, вы бы на моем месте все заметили и пересчитали, вы бы им полную «бухгалтерию» навели.

– Ладно, ладно!

«Этому Попеленко в сообразительности не откажешь, – подумал я. – Наверно, он мог бы узнать и гораздо больше, да понимает, что знать слишком много опасно. Иначе ему не отделаться небольшим внушением по скуле, если на лесной дороге повстречаются бандиты. Почему они так мягко обошлись с ним? Наверно, не хотели возбуждать против себя население – ведь у Попеленко девять детей, и весть о его убийстве всколыхнула бы округу. Здесь у Попеленко каждый второй – сват или кум... Кроме того, этот «ястребок» им не опасен. Ему не хочется стрелять. Иное дело – Штебленок. Тут-то они отвели душу».

– Слушай, Попеленко, почему Штебленок оказался в Шарой роще?

– Я так думаю, что в район направился. Чего-то он больно заволновался. Дело у него какое-то получилось. И ведь как раз Шарая роща на дороге в Ожин!..

– Какое дело получилось?

– Да кто ж его знает?

– А почему лошадь не взял?

– А кто ж его знает?

«Наверно, Штебленок хотел покинуть Глухары срочно и незаметно, – подумал я. – Но что заставило его податься в Ожин?»

Попеленко смотрел, вздыхая, под стол. Похоже, он раскаивался, что разговорился со мной.

2

Сентябрьская ночь накрывает Глухары со всеми окружающими ее лесами в девятом часу. Луна еще не всходила. Темнота такая, что кажется, еще один шаг – и ты расквасишь о нее нос. Осенний туман скрыл звезды, он шевелится, набухает, едва проступая неясными клубами за плетнями. Изредка взлаивают собаки, да со стороны Варвариной хаты доносятся песни – это бабы гуляют на горьком своем празднике. Сегодня Натальин день, я вспоминаю об этом, услышав: «Иде ж то ты, Наталка, блукала усю ночь?»

В самом деле, где ж?.. Где ты блукала этой ночью, Наталочка? До войны, помню, в этот сентябрьский день гуляло все село. Девчата срывали рябину и кистями вешали под крышу, на плетни, чтобы наморозилась, провялилась, сладости набралась. И у дедов к вечеру носы краснели под стать рябине. Мне давно уже стало казаться, что все люди в ту довоенную пору были дружными, веселыми и счастливыми, работали в поле, танцевали под хриплый патефон, ходили на выборы в украшенный кумачом клуб... И откуда же выплыли все эти полицаи, все эти националисты, бандеровцы, натворившие столько бед, принесшие столько горя и вызвавшие столько ненависти, что теперь, брошенные хозяевами, скрываются по лесам, как зверье? И только кто-то из них тайком, крадучись, пробирается в темноте, в тумане, оглядываясь на соседние дома...

У дома Варвары я останавливаюсь. Хоть и грустный теперь этот бабий праздник, вдовый, а все же поют. У нас, в Глухарях, добрая половина баб и девок – Натальи, как не гулять. Ну, про три вербы затянули. Небось слезу вытирают и тянут, тянут песню... и неплохо тянут. Высокие голоса – это небось Кривендиха с племянницей – у них вся семья ясноголосая и звонкая – ведут песню, выплескивают ее за окна к самому скрытому туманом небу, а Варвара и кто-то из товарок-вдовушек хриловатыми контральто стелются под этот дуэт, словно поддерживают его, чтоб не сорвался на землю, взлетев слишком высоко...

Там три вербы схилилися,
Мов, журяться вони...

Складно так. И не поверишь, что эта лихая вдова и самогонщица, с ее глазищами-сливами, может так искренне, так разрывно страдать.

А молодисть не вернется,
Не вернется вона...

Гуляют наши глухарские бабоньки.

А кто-то из них, как не без оснований предполагает бывалый Попеленко, подкармливает и обстирывает бандюг. И для кого-то там, в лесу, скрывается не бандюга, а милый друг, Грицько там или Панас, который когда-то, до войны, щеголял в вышитой рубахе, лузгал на танцах семечки, танцевал гопака и пел под гармошку: «По дорози жук-жук, по дорози черный, подывся, дивчинонька, який я моторный...»

Как же, моторный. Очень даже.

Нет, не случайно в то утро Штебленок направился в район. И не случайно его подстерегли в Шарой роще. Кто-то знал, что Штебленок пойдет этой дорогой. Но кто? Ведь даже своему приятелю Попеленко ничего не сказал Штебленок...

Грустная песня про три вербы смолкла, и вот уже лихая «От Киева до Лубен» рванулась из Варвариных окон. В этом доме не могли долго скучать. Рядом со мной в темноте раздавалось хехеканье: как будто кто-то галушкой поперхнулся. Я отпрянул вначале, а затем чиркнул спичкой. Был у меня заветный коробок, один из тех пяти, что я еще в госпитале выменял на немецкий перочинный нож с десятью приборами.

Слабый огонек высветил клубок пакли. Клубок этот был прикреплен к рваному ватнику, перепоясанному желтым трофейным проводом. На самой верхушке клубка каким-то чудом держалась серая солдатская шапчонка на рыбьем меху. Я держал спичку, пока она не обожгла пальцы, и заметил наконец под шапчонкой два темных, затерявшихся в пакле волос, хитро поблескивающих глаза, а чуть ниже – алый влажный рот.

– Гнат! – сказал я. – Ты чего тут стоишь?

– Хе-хе-хе! – рассмеялся Гнат.

С таким же успехом Гнат мог задать этот вопрос мне. Мы оба друг друга стоили – деревенский дурачок и я.

– Хе-хе-хе! – снова засмеялся Гнат. – Девки! Хе-хе-хе! Бабы! Гуляют! Ха-арошие ма-асковские девки! Ха-арошие ма-асковские бабы! Хе-хе-хе!

Надо сказать, эпитет «ма-асковский» был у Гната определением наивысших достоинств. Когда-то, до войны, родственники Гната упростили председателя отправить дурачка за колхозный счет в Москву полечиться. Трезвого рассудка Гнат из Москвы не привез, зато приобрел целый набор сложнейших впечатлений; так возникло хвалебное слово «ма-асковский», навеянное, главным образом, посещением метро.

«О-о! О-о!» – кричал, вернувшись, Гнат и, размахивая руками, старался показать, как под землей бегают поезда. Разумеется, его не понимали: попробуй объясни, что такое метро, людям, из которых большинство не то что подземных, но и обыкновенных поездов не видело. Маляс, бывалый человек, ездивший до Полтавы, допускал, помнится, возможность подземных сообщений, но в спорах, разгоравшихся после возвращения Гната, никак не мог найти ответа на вопрос: куда же от паровозов девается копоть и дым?» Задохнутся все!» – кричал Маляс. «Оо! – кричал Гнат. – Ма-асковский».

– Пуф! – сказал Гнат в темноте, еще более сгустившейся после того, как слабо тлеющий остаток спички выпал из моих пальцев. – Пуф-пуф-пуф! Хорошо стрелять! Винтовка – пуф!

Он, снова рассмеялся и запел. Он всегда любил петь, Гнат.

– Ой, она жито добре жала, девка справная была, вся, как груша, налитая, жениха она ждала...

Я повернулся и круто зашагал к дому, спотыкаясь о неровности песчаной дороги. Мне было стыдно. Мучила злость на самого себя. Почему я остановился у дома Варвары? Что мне там нужно? Не прошло и десяти дней, как вот такой же темной ночью я вышел из этого дома, дав себе слово, что никогда больше не ступлю на его порог. Даже близко не подойду... В ту ночь, вернувшись к своей хате, я долго ладонью очищал шинель и вытирал сапоги о железную скобу, хотя погода стояла сухая и не было никакой надобности в этом занятии.

Я спросил потом у мирового посредника товарища Сагайдачного: почему врут писатели? Почему они описывают близость между мужчиной и женщиной как вершину любви, как нечто такое, чему и названия не подберешь, до того это здорово, до того прекрасно. Причем все до одного... Зачем нужен обман, когда речь заходит об этом... ну, ясно о чем. Если бы люди смотрели на вещи трезво и просто, без всяких там иллюзий и ожиданий и не требовали бы ничего такого сверхъестественного, то потом, ну, когда они испытают все это, им не было бы так стыдно перед самими собой, им не хотелось бы бежать за тридевять земель, у них не было

бы чувства огромной потери. И, разговаривая с Сагайдачным, я снова переживал ту ночь: как шел от Варвары и как мне было неприятно, хотя я гордился тем, что я такой же мужчина, как и все, что я не ударил в грязь лицом. Но только одно по-настоящему радовало, только одно: все позади, позади, я снова один, снова свободен. И вокруг леса и поля, такие близкие, родные, такие любимые и ясные мне, и вокруг все, что доставляет ощущение подлинной естественной жизни и воли. И еще я вспомнил то, первое, когда дивизию отвели на отдых, и Дубов с Кукаркиным взяли меня с собой, как они посмеивались, глядя на меня, и переговаривались о чем-то вполголоса, и карманы их оттопыривались от бутылок, а Кукаркин нес с собой гитару. Они сказали, что обо всем уже договорено, не надо ни о чем беспокоиться, а Кукаркин все напевал: «И повели его, сердечного...» Он был большой шутник, Кукаркин, его любимой шуткой было прийти куда-нибудь на гулянку – он об этом часто рассказывал – и познакомиться с какими-нибудь девчатами, а потом начать лузгать семечки, и конечно же одна из тех девчат непременно требовала, чтобы он угостил и ее. И Кукаркин, пожалуйста, подставлял карман, и весь фокус был в том, что в галифе не было ни семечек, ни самого кармана, а просто там была дыра; конечно же девчонка поднимала визг, а Кукаркин и его дружки, которые знали, в чем дело, очень веселились. Большой шутник был Кукаркин, дальше некуда. Но он был не трепач. В тот вечер, когда они с Дубовым взяли меня с собой, все действительно оказалось договорено, в хате нас ждали девчата, трое, очень веселые и разбитные, освобожденки, которые много натерпелись и много навидались. Они сказали, что мы, сразу видать, настоящие фронтовики, не какие-нибудь тыловые скуперджи – мы перед тем вывалили на стол весь паек и то, что было добыто Дубовым в качестве трофея, – и принялись веселиться. Я много выпил тогда – очень спешил напиться...

Потом Кукаркин все расспрашивал: «Ну как?» – и посмеивался. А я тоже смеялся в ответ и тоном бывалого парня говорил: «Полный порядок». Ох и муторно мне было! И не понимал я еще одного: если это действительно так здорово, как полагал Кукаркин, то зачем надо было столько пить, до потери соображения? Может быть, и он, Кукаркин, тоже притворялся, тоже играл в эту заведенную людьми игру? Потом, много позже, когда Варвара пригласила в гости и я пришел, я надеялся, что все будет по-другому, что то, первое, забудется, но все было так же, если не хуже, потому что теперь я мало пил, куда мне было теперь пить. А может, спрашивал я, я какой-то недотепа?

...Мировой посредник Сагайдачный выслушал меня серьезно – он прежде всего тем и привлекал к себе людей, что выслушивал серьезно, что бы кто ни говорил и как бы долго ни говорил. За этим маленьким, сухоньким и серьезным старичком во всю стену просторной его небеленой хаты высились сбитые из грубых досок длинные полки, а на полках стояли всякие безделушки и книги в разноцветных кожаных переплетах, старинные добротные книги; их было так много, что если бы они рухнули разом – я почему-то подумал об этом, – то завалили бы Сагайдачного и образовали бы целую пирамиду, и мировой посредник лежал бы в ее центре, как какой-нибудь фараон, что ли. И странно было, что маленькая, наголо бритая голова Сагайдачного вмещает всю мудрость этого несметного количества книг.

– Одним словом, – сказал Сагайдачный, – «Ромео и Джульетта» – не что иное, как ловкий обман... Нет пылкой и самозабвенной любви!.. Худо было бы, если бы так рассуждал проживший на свете мужчина, но раз передо мной ты... Надеюсь, ты все узнаешь. Все верно у писателей, то, о чем ты говоришь, и есть вершина любви. Но ведь вершина любви. – Он задрал кверху голову, словно бы завидя некую ослепительную вершину. И я тоже поднял глаза, но ничего не увидел, кроме засиженного мухами потолка. – Должна быть любовь, понимаешь? Природа все устроила так мудро, чтоб не было обмана, и если тебе после *всего* хочется бежать к полям и лесам – беги! Беги! Значит, то, что было у тебя, – ненастоящее, ложное. И если ты не убежишь – оно развратит тебя, испошлит. Твоя реакция – это реакция нравственно здорового человека. И не бойся, не спеши. Все еще будет, будет так, что тебе не захочется никуда бежать, и твои

поля и леса будут в эти минуты с тобой, вернее, с вами, и ты сумеешь это оценить! Это счастье – большое, редкое, счастье, ибо не каждому дано встретить истинную любовь. Мир велик, и вдруг твоя любовь, одному тебе предназначенная, живет за тысячи верст от тебя, и ты никогда не увидишь ее, никогда ничего не узнаешь о ней... Но если встретишь, если встретишь!..

Так говорил, шепелявя, мировой посредник товарищ Сагайдачный. Наверно, он был прав, наверно, все впереди. Мне стало легко и радостно, но я подумал о своих сверстниках – сколько мне пришлось их перехоронить! И стало обидно за них. Им уж ничего не испытать – ни истинной любви, ни ложной. Думал ли старик об этом?

– Вы это говорите от себя или от книг? – спросил я.

Вот тут он усмехнулся. Рот у него блестел вставным золотом, и на полещан это производило сильнейшее впечатление, и Сагайдачный, зная это, улыбался одними губами, и они растягивались до того, что превращались в бледно-розовые шнуры. Блестела его наголо бритая голова, блестело пенсне. И Сагайдачный сказал:

– В моей жизни была только одна женщина, с которой я не думал о полях и лесах... Вот до чего все странно устроено. Только одна! Одна на весь мир...

Он не обернулся, но я невольно посмотрел на желтую фотографию, стоящую на книжной полке за спиной мирового посредника. На этом снимке, с тисненой фамилией фотографа внизу, была изображена молодая женщина в буржуазной соломенной шляпке – первая жена Сагайдачного. И странно – слушая Сагайдачного и глядя на красивую юную женщину в легкой соломенной шляпке, я вспомнил, как шла по озимому полю младшая дочь гончара Семеренкова. Никакой, конечно, связи между женщиной в шляпке и Антониной не было, просто вспомнилось: было раннее утро, озимь чуть взошла над сизой пашней, и по стежке от родника шла девушка с коромыслом. Она шла так легко, так свободно – высокая, прямая, – что я замер, и внутри меня как будто наступила тишина. Озимое поле, и сиреневая полоса лесов за ним, и фигура девушки – все это как будто перенеслось в меня и хрупко застыло где-то там, в непонятной глубине.

Сагайдачный перехватил мой взгляд. Ему не надо было оборачиваться, чтобы узнать, куда это я уставился. Сагайдачный сказал:

– Она умерла от тифа в тысяча девятьсот девятнадцатом году, под Киевом, шестнадцатого мая.

3

Подойдя к калитке, я остановился и, чтобы привести мысли в порядок, постучал кулаком по лбу, довольно больно постучал. Никак я не мог сосредоточиться на предстоящей работе. Башка у меня странно устроена: нет в ней порядка. Однажды, до войны, бабка попросила постереечь телят, а сама пошла на дойку. И телята вмиг разбежались. Я гонялся за ними, кричал, даже плакал... Ничего не мог поделать. Тот, кто пасет, должен быть старше тех, кого он пасет. Во всяком случае, умнее. Может быть, в жизни каждого человека наступает время, когда он становится старше собственных мыслей. Когда он может ими командовать. Ставить по ранжиру, заставлять сдвигать ряды, равняться на правофлангового и так далее. Но я еще не созрел.

Бабка ждала меня у коптилки, зашивая шинель.

– Носит тебя лиха година! – проворчала бабка. – Темнотища на дворе! Молоко выстыло! – Она бросила мне шинель. И запричитала: – Ой, лишенько ж, лихо, одно дите, и все израненное, так и того хотят сничтожить, ироды... А завтра как раз твой день ангела, Иванов день, вот и подарочек мне, старухе, – в «ястребки» записали! – Минуты жалости и слезливости у бабки быстро сменялись приступами гнева. Когда я принялся за свое молоко, заедая его ожинским хлебом, испеченным из высевок, Серафима уже сердито выговаривала: – А matka твоя и не

знает, тряся ей и тряся, как сынок мается. Небось там сала вдоволь, там войны нет, а вот она и жирует с крендибобером своим! Паскуда!

– Ладно, Серафима, – сказал я. – Успокойтесь... Завтра – Иван, а сегодня тоже не пустой день. Натальин! Грех вам!

Она и вправду сразу успокоилась. Слово «грех» всегда оказывало на нее сильнейшее воздействие. Если исключить пристрастие к ругани, Серафима прожила праведную жизнь. Она столько отработала на своем веку и столько раздала из скудных своих запасов всем сирым, убогим и обездоленным!..

Я подтянул кверху фитиль плошки. Все Глухары пользовались плошками одного типа – производением кузнеца Крота. Кузнец отливал их из дюраля и брал за каждую по двадцать яиц или иное что эквивалентно. Слова «эквивалент» Крот не знал, но своего не упускал, однако. «Копеечка у него не пропадет, – разъясняла его характер Серафима. – Если в рот уронит, то из... другого места выковыряет».

При свете Кротовой плошки я и уселся разбирать затвор своего карабина и чистить ствол. Сколько ни перебивало у меня оружия за военные годы, даже если оно попадало новеньким и исправным, я всегда начинал знакомство с полной разборки. Этому и Дубов учил: «Кому должен полностью доверять солдат? Во-первых, оружию. Во-вторых, жене. В-третьих, командиру. С чего начинается доверие? Со знакомства! Знакомство начинается с чего? С полной разборки. К жене и командиру это не относится... Разойдись чистить личное оружие!» Слова эти вызывали неизменный гогот, и процедура чистки казалась не такой занудной. Четкий был человек Дубов, ничего не скажешь: кадровик, из пограничников. Зеленую фуражечку он проносил всю войну, подшивал ее, чистил и берег. «Если встретишь зеленую фуражечку, – говорил он, щура глаз, – знай: ранен будешь – из боя вынесет. Последний сухарь отдаст. Шинелью от дождя накроет... И вообще... цвет надежды, ясно?» С ним легко было и перед боем, и в бою. Надежно. «Эх, если бы и в Глухарях был такой парень, как Дубов! Где ты теперь, Митька? Жив ли?..»

Я разложил на столе детали затвора. Стебель, личинку, планку, пружинку и прочую хрестоматию. Личиночка мне не понравилась: попала она сюда явно из другого затвора, который, наверно, еще при обороне Порт-Артура поработал. Боевые выступы и сосок подносились и потеряли остроту граней. Я потянулся за напильником... Глянул в темное окно: в надтреснутом стекле неровно отражались коптящее пламя плошки и блеск начищенного металла. С улицы, наверно, хорошо было видно все, что делалось в доме.

Представил себе: где-то там, в лесу, в землянке, наверно, тоже сидят и чистят оружие при свете плошки. И обсуждают между делом новость: в селе Глухары объявился новый «ястребок», Капелюх, двадцати лет, бывший фронтовик. У бандюг, конечно, налажена хорошая связь с селом, им все обо мне известно. Сидят они себе и между делом решают мою судьбу. Я перед ними как на ладони, а они от меня скрыты в густом тенечке.

Надо бы ставни, пожалуй, завести...

Ночь выдается беспокойная. К двенадцати часам мне часто приходится просыпаться от неожиданных болей – будильник, что ли, оставили в животе во время операции? На этот раз треплет особенно здорово. Сказался беспокойный день: хождения, тряска на телеге. Жернова работают вовсю. В такие минуты цепляешься только за одну спасительную мысль – надо переждать, переждать, к утру все пройдет, исчезнет вместе с испариной, боль стихнет, останутся жернова.

«А что ты хотел? – спрашиваю я себя. – Удрать от самой смерти, да так, чтобы она не царапнула тебя ни единым когтем, не сделала отметины?» Воевал я два с половиной года и был как нежинский огурчик, целехонек и крепок, даже не контузило, только пару раз землей присыпало да ухо осколком надорвало, ну, шинель как-то пробило пулей. Но шинель-то была в скатке, а пуля, видно, излетная. Все считали, что я здорово везучий. Но где-то там, в «выс-

шей бухгалтерии», заметили наконец ошибку и разом сделали начисление: в одну секунду мне десяток дырок прокомпостируют, сразу за всю войну. Мы в большую неприятность попали – немцы засекали нашу группу в предрассветных сумерках, обложили со всех сторон, стараясь отбить своего «языка» и одолжить нашего, и в конце концов загнали нас на минное поле.

Деваться было некуда, поперли мы на это поле, лучше было помереть, чем сдаваться. Мы все-таки прошли это поле, проползли, вынюхивая землю и чувствуя затылками сотрясение воздуха от пролетавших низко разрывных пуль. Но в конце концов Читальный, огромный и сильный Читальный, по прозвищу ЧТЗ, наш основной добытчик, задел антенну немецкой прыгучей мины. Такие мины стоглазые, они всех высмотрят с высоты. Они выщелкиваются из скрытых в земле стаканов, взлетают вверх стальными лягушками и лупят по всему, что внизу, тремя сотнями шрапнельных шариков. В воронке от шпрингмины не спасешься. «S» – так эту мину обозначили немцы, по первой букве названия, и наши саперы ее тоже на «С» звали, только похлеще, совершенно нетехническим термином.

Чудно ударила эта мина, взлетев из-под руки ЧТЗ: сам Читальный, у которого «лягушка» разорвалась над головой, отделался двумя пустячными дырочками – видно, в мертвой зоне оказался, – а Кукаркина, весельчака, ползшего в двадцати метрах от ЧТЗ, на месте убило, в сердце и в голову, двумя смертями; он умер в долю секунды. Меня тоже чиркнуло сверху, и я сразу не понял, в чем дело, думал, так, ерунда, по касательной задело, а вышло, что осколки оказались в животе, да и еще рукам-ногам досталось.

Вот они какие, шпрингминен, изобретение немецкого технического гения. Ждешь слева, а бьют справа. И главное, я в этот момент в одиночную ячейку как раз ввалился и думал, что в полной безопасности... Лежал пузом к земле и переводил дыхание, почти как дома.

Дубов тащил меня к своим, а я думал: «Вот тебе и везучий! Всего кровью заливают! Хана!» И все-таки мне в конце концов повезло, здорово повезло. И потому повезло, что рядом был многоопытный и верный Дубов, прятавший смятую фуражку с зеленым околышем под ватником. Если бы не Дубов, бабка Серафима давно бы уже «сороковины» по мне справила. Он меня дважды спас: первый раз, когда вытащил со старого, густо заросшего свекольного поля, где рванула мина-«лягушка», и второй раз, когда дал точный совет. Ему самому трудно было говорить, никак он не мог пережать как следует артерию у самого плеча, и кровь залила весь ватник, густо пропитала его, как промокашку, намочила, испортила заветную фуражечку, сберегаемую с сорок первого. Язык у Дубова заплетался, но он успел сказать мне то, что нужно. Он сказал: «Попадешь к «животинкам», запомни: *не больше шести часов, не больше*. Иначе не станут резать, ты это запомни, Ваня, *не больше шести часов...*» И я запомнил, крепко запомнил и все старался удержать это в сознании, чтобы успеть сказать врачу то, что надо. Конечно, в госпитале нельзя было твердить, как испорченная пластинка, что ранило меня *не больше шести часов назад*: врачи сразу поняли бы, что твержу заученное, – и я, как положено разведчику, выделил ориентир во времени, вешку, которой мне следовало придерживаться. И когда меня уже в сумерках доставили с плацдарма на носилках в ППГ, и я увидел над головой маленькую аккумуляторную лампочку и грубый брезент большой операционной палатки, и хирург наклонился надо мной и покачал головой, и спросил, когда меня ранило, я сказал: «На понтоне, днем, когда мост наводили...» И повторил: «Когда мост наводили». Все знали, что мост смогли навести лишь после полудня, этой переправой жил весь корпус. А ранило меня, когда еще только-только начинало светать, когда мы возвращались с этого чертова свекольного поля, а потом я долго лежал на берегу, и перевезли меня через реку, как только навели понтонный мост – солнце стояло уже в зените.⁶

И они стали меня резать. Мелкие осколки в плечах, в ногах не беспокоили их, с этим они могли справиться быстро, это они оставили на третье, а начали с живота. Врач морщился

⁶ Полевой передвижной госпиталь.

недовольно, рассматривая меня перед тем, как дали наркоз. Я и под наркозом – сестры потом рассказывали – бормотал про понтон. Наверно, хирург уже понял, что это липа – насчет того, когда меня ранили, ведь под наркозом не сможешь соврать складно, – но дело уже было начато, и хирург, конечно, не мог бросить операцию на самой серединке, и они принялись – сестры рассказывали – полоскать мои протухшие кишки, вывалив их в таз и просматривая каждый сантиметр, чтобы не пропустить какую-нибудь дырку или не оставить второпях осколок. Ох и ругался, наверно, хирург!

А вся штука заключалась в том, что «животников», таких тяжелых, как я, они не резали, если проходило больше шести часов после ранения, потому что на июльской жаре за это время непременно начинался перитонит, да такой, что впору было все изнутри выбрасывать и начинать пустоту капустой или чем угодно, это уже не имело никакого значения. Таких опоздавших «животников» они успокаивали словесно и оставляли лежать в госпитальной палатке для безнадег. Ведь врачи и так не успевали – шло наступление, – и они должны были резать тех, у кого был шанс выжить. Это было понятно, никто не сетовал, потому что чего уж тут сетовать, понимать надо. «Животники», которые знали, что их срок вышел, долгой жизни не требовали, а только просили морфия или пантопона, и в этом им никогда не отказывали, как бы ни было тяжело с медикаментами; врачи ведь тоже люди. А только я, по совету Дубова, решил рискнуть. Когда операция закончилась, меня положили туда, где лежали безнадежные. Но хирурги – удивительные люди; хотя они и были уверены, что из операции не выйдет толка, все равно сделали все по первому сорту, не пожалели времени и сил, раз уж начали это дело. Два дня я лежал без памяти, а потом открыл глаза, и с тех пор они у меня закрывались, как положено, только для сна. И хирурги приходили смотреть на меня, даже не спрашивали ни о чем, просто задирали рубаху, смотрели и переглядывались друг с другом, переговаривались на своем тарбарском языке.

Когда через неделю меня грузили в автомобиль, чтобы отправить на станцию, все пришли из госпиталя, и было такое ощущение: это они на выставку меня отправляют, как редчайший экспонат. «Ты мне всю теорию испортил», – сказал мрачный и усталый хирург-грузин и сунул мне под одеяло томик Пушкина, любимую свою книгу, зачитанную, но со всеми страницами, драгоценность из драгоценностей. Я читал Пушкина, качаясь на вагонной полке, ревел, прикрываясь одеялом, и так возвращался к жизни.

...Бабка Серафима услышала, как я дергаюсь и скриплю зубами, и тут же подскочила к топчану.

– Выпей! – она подала мне медную ендовку.

Знал я, что в ендовке, но очень хотелось пить, и я выпил всю чуть отдававшую затхлостью и металлом воду. Бабка облегченно вздохнула, вытерла мне лоб.

– Ох, Серафима, – сказал я, – отравите вы меня!

Но она только замахала руками в ответ на такое богохульство: «Что ты, что ты!» Во время войны, насмотревшись и смертей, и чудесных избавлений, бабка стала на редкость религиозной. Все обряды она справляла самостоятельным манером, проявляя немалую изобретательность. Святила просвиры, отстаивала заутрени, всенощные... Все сама по себе, без батюшки. А святую водичку изготовляла путем окунания любимых икон Николая Чудотворца и божьей матери черниговской в кадку с колодезной водой, отчего вода приобретала какой-то странный привкус. Так что я сразу догадался, чем меня попотчевала сердобольная Серафима.

– Николай или черниговская? – спросил я.

– И архистратиг Михаил, – ответила бабка. – Тройной силы вода, к утру как рукой снимет.

В этом я был почти уверен. Ночной озноб обычно уходил с утренними петухами.

– Завтра твой день, Иван постный, – зашептала, склоняясь ко мне, бабка. – Смилости-вятся покровители наши в день ангела... Месяц на небе, мертвяк в гробе, камень в море, –

забормотала она и принялась укутывать меня теплее. – Как три брата до кучи сойдутся банкет робить, тогда и от раба божия Ивана лихорадку отгонять... Месяц в небе...

Под это нашептывание я и заснул.

4

Утром я выглянул в окно. Мне показалось, солнце встало не по времени рано, пробилося сквозь туман и высветило садочек, прилепившийся к приземистой хате. И, только всмотревшись внимательно, я понял, что это осенний обман. Никакого солнца нет, а светятся алым вишневые листья. Они еще густо и плотно держались на ветках, но изменили окраску и стали ржаво-красными.

Серафима уже встала, слышно было, как она возится в сарае, по обычаю своему выговаривая корове и кабанчику. В особенности доставалось кабанчику Яшке, которого бабка упрекала в дармоедстве. Яшка ел много, но был худ, жилист, тонконог, как будто готовился к бегам. «Фашисты породу испортили, – жаловалась частенько бабка. – При них только те свиньи выжили, которые успевали в лес убежать...»

Я оделся и выскользнул на улицу. После такой ночи ноги мягко сгибались в коленках, словно приглашали присесть. Туман все еще обволакивал село, дома не были видны, но гроздь золотых шаров горели в палисадниках как сигнальные огни. Орала петухи, кое-где уже скрипели калитки.

Было радостно после перенесенного приступа вновь чувствовать себя частицей этого осеннего, медленно разгорающегося утра. Но меня не оставляло ощущение какой-то ошибки, какого-то промаха. Как будто я проспал что-то важное, упустил частицу той тайной жизни, которой жило село ночью.

Я прошел за огороды к озимому клину. Тропинка исчезла в тумане. От этого тумана, от загадочного рассеянного света казалось почему-то, что тропинка там, дальше, за мягкой белой стеной, уходит вверх, вверх и вверх, что вся земля, вся плоскость ее, сколько ни охватит глаз впереди от фланга до фланга, выгибается и становится склоном гигантской, нескончаемой горы, покрытой нежной шерсткой озими. И еще казалось, что если подождать немного, то по тропинке с невидимой пока горы спустится – как в то, иное, более теплое и ясное, утро – молчаливая, закутанная в черный платок дочь гончара Семеренкова Антонина. Она пройдет по этой узкой стежечке, как по канату, прямая и строгая, ступая ровно и плавно; может быть, я увижу ее лицо за выступающими вперед складками платка. В селе говорили, она очень красивая, младшая Семеренкова, но, с тех пор как я вернулся с фронта, я не встретил человека, который мог бы сказать, что посмотрел ей в глаза. И давно никто не слышал ее голоса. Довоенная Антонина, девчонка, тень старшей красавицы сестры, забылась вовсе, осталась только нынешняя – взрослая, молчаливая и странная.

Я постоял... В стороне, на правом фланге, из тумана выплыл Гаврилов холм. На вершине его обозначились кладбищенские кресты. Они блестели от осевшей на них влаги.

Стежка была пуста. Нельзя требовать от жизни повторений. Каждая счастливая минута, выпавшая на нашу долю, – это как капля, сорвавшаяся с листа. Упала – и растворилась в земле. Ее не найти, можно лишь ждать следующую!

Я снова повернул к селу и на огородах, среди подсолнухов, наполовину выклеванных воробьями, лицом к лицу столкнулся с Гнатом. Мне просто везло на встречи с нашим деревенским дурачком.

На лице Гната, густо заросшем рыжеватыми волосами, появилась лучезарная улыбка. Глаза-пуговицы засветились. Гнат всегда радовался, увидев человека. Он не знал недоверия и подозрений, свойств, изобретенных нормальными людьми как оружие защиты. «Может быть, люди со временем кое-чему станут учиться у дурачков», – подумал я. На плече Гната висел

пустой огромный мешок-«овсянник». Каждое утро Гнат уходил в лес с этим мешком. Наверно, побирался в соседних деревнях.

Придерживая мешок одной рукой, он снял шапочку со своих путаных волос, поклонился и сказал, показывая на винтовку:

– Хорошо. Пуф-пуф. Полицай-начальник, хорошо!

– Иди-иди! Гуляй...

– Хорошая девка!.. Ой, хорошая девка, ма-асковская сладкая девка! – Гнат засмеялся, показал рукой, как будто поддерживает коромысло на плече, и стал мелко перебирать ногами, подражая девичьей походке. – Хе-хе-хе!..

Он погрозил мне пальцем и, поправив мешок, потопал по тропинке в туман, в сторону призрачной горы. Он громко запел о девке, поджидающей жениха. Я остолбенело смотрел на его огромные, перевязанные проводом ботинки, на широкую спину, обтянутую рваным, лоснящимся армейским ватником. Неужели он имел в виду Семеренкову? Как он догадался, что я думаю о ней? Юродивые, стало быть, действительно прозорливы?

Нет, мне еще на школьной скамье твердо внушили, что никакой мистики и ничего сверхъестественного в жизни нет и быть не может. Очевидно, Гнат не однажды встречал на этой тропке дочь гончара, когда она возвращалась от родника, неся коромысло с полными ведрами. Может быть, и я лишь чуть-чуть опоздал: встань я несколько минут раньше, я бы увидел Антонину.

Наверно, она каждое утро отправляется к далекому роднику. Глухарчане обычно пользуются колодезем, что в центре села. Скрипучий журавель над срубом стихает лишь к поздней ночи... Но она любит родниковую воду и чуть свет идет к опушке, туда, где в песчаном ложе, шевеля зелеными нитями водорослей, дышит известный всей округе Кумов ключ.

5

– Кто из села был в полициях и скрылся, когда немцы ушли? – спросил я у Глумского.

– А ты не знаешь? – сказал тот, шурясь.

– Меня здесь не было тогда.

– А, ну конечно. Чистенький. А мы тут виноватые. Хорошо быть чистеньким, да, сынок?

Никита Глумский был едкий человек. Хмурый. Неуживчивый. Он до войны не отличался добродушием, а теперь и подавно. Но глухарчане единодушно выбрали его председателем колхоза на первом же собрании после изгнания фашистов. Говорят, Глумский ругался на этом собрании и клял своих земляков, но они только посмеивались. В Глухарях больше не было ни одного мужика, который так хорошо, как Глумский, знал бы, когда сеять, когда жать и все прочее. Неуживчивый характер и упрямство председателю к лицу, так рассуждали глухарчане. Председатель должен справиться с любым районным уполномоченным, если тот приедет командовать и указывать, как жить.

– А вы не злитесь, – сказал я.

– Надоело, когда приходят и расспрашивают. Как будто я сам у фрицев служил. Вы бы обращались прямо к Бандере.

Я только второй день ходил в «ястребках», но Глумский уже причислял меня к надоедливому начальству. *К ним.*

– Я вот председатель, с револьвером, а боюсь в соседнее село съездить. Где же ваша защита, «ястребки»? – спросил Глумский.

Никакой форы он мне, новичку, не давал. Это было несправедливо, но возразить я не мог.

Он был маленький, Глумский, и сутулый до такой степени, что казался горбатым. Клыки у него выдавались вперед, оттопыривая губы, и от этого создавалось впечатление, что он хочет вцепиться в первого встречного. Природа ему бульдожий прикус подарила. Вообще, мало в нем

было приятного для глаза, в Глумском. Вот только руки... Та же скупая природа, вылепленная маленького Глумского, в последнюю минуту расщедрилась и подарила ему руки, предназначавшиеся для какого-нибудь Добрыни Никитича. А может, это они так раздались от работы.

– Вы же сами знаете, некому воевать с бандитами, – сказал я. – Нельзя же раздать оружие подросткам или детям.

Насчет подростков и детей – это я зря ляпнул. Спихнулся, когда было уже поздно. Глумский даже потемнел лицом.

– Да, – выдохнул Глумский.

Осенью сорок первого фашисты застрелили у Глумского сына. Все помнили в Глухарях, что в пятнадцать лет это был настоящий парубок – рослый, плечистый, со светлым лихим чубом. Вот уж, наверно, Глумский им гордился... И имя он дал ему подходящее – Тарас. Так вот, Тарас решил подорвать карателей, которые во дворе ощипывали кур. Каратели много поработали за день и решили закусить. Рассказывали, всю Перечиху каратели выжгли за час, а это тридцать дворов. И вот они, чумазые, в копоты, ощипывали кур и гоготали, а Тарас и бросил в них гранату...

Но только пятнадцать лет это пятнадцать лет: то ли он негодный запал вставил, то ли не выдернул кольцо с чекой. Не взорвалась граната.

– Крамченко был во вспомогательной украинской полиции, – сказал Глумский. – Он ушел. Помнишь Крамченко? Задуй его ветер!..

Я помнил Крамченко. Это был длинный, нескладный мужик-недотепа. Вечно у него в хозяйстве случались какие-нибудь беды. То корова клевера объестся, то куры ни с того ни с сего перестанут нестись.

– Дурень, – продолжил председатель. – Думал, для него легкая, везучая жизнь будет. Из колхозной фермы Розку взял, корову-рекордистку. Так она у него и трех литров не давала. Завидуешь его глаз...

– Семья у него здесь осталась?

– Семья – не ответчик, – буркнул Глумский. – Или у вас там по-другому учат?

– Товарищ Глумский! – закричал я, не выдержав. – В школе меня этому не учили, на фронте тоже! Других учебных заведений не кончал!

– Ну ладно! – смилостивился председатель и чуть приоткрыл губу, что должно было изображать улыбку. – Просто не люблю расспрашивателей. Все время расспрашивают, как было да что было. Зачем тебе семья?

– С кем-то из села бандиты поддерживают связь. Кто-то их подкармливает.

– Семья у Крамченко ушла с ним, – сказал Глумский. – Побоялись, дурни... В Европу подались. Там их не хватало.

– Может, дружки остались?

Глумский усмехнулся криво, вытер рукой лицо. Ладонь у него была куда шире лица. По моему, он мог пальцы на затылке сомкнуть, если бы постарался.

– «Дружки» – опасное слово, – сказал Глумский. – Я, может, тоже до войны Крамченке был дружок. На рыбалку вместе ходили.

Он пристально, изучающе поглядел на меня, как бы решая, стоит ли все выкладывать начистоту. Глумский и так баловал меня сегодня беседой.

– Не сомневаюсь, что это Горелый зверствует, – сказал он наконец. – Был такой здесь полицейский командующий. Он!.. Я ведь привозил Штебленка из Шарой роцци.

– Ну и что?

– У каждого свои привычки, – продолжал председатель. – Вот и у Горелого была привычка: вешать человека, чтобы ноги чуть касались земли. Так он дольше мучается, человек-то. Все хочется ему на землю встать... Дергается он, человек... Я видел, так Горелый в сорок втором партизан вешал.

Он помолчал. И я молчал, а пальцы впились в край стола, точно судорогой свело.

– И еще для этого он применял провод, – сказал Глумский. – Кабель! Он пружинит, и у человека больше надежды. Труднее помирать. Понял, сынок?

Он отвернулся, глядя в окно, а я все сидел, вцепившись в стол. Вот, значит, какой у меня враг... О Горелом я уже слышал от глухарчан. Но теперь все выглядело по-иному.

– У Горелого были счеты со Штебленком? – спросил я.

Глумский насупил брови, размышляя.

– Кто знает... Он сам из Мишкольцев, Горелый. Был до войны вроде ветеринаром на участке. Вообще-то самоучка, коновал. Но выдавал себя – вроде ученый. Не успели мы его вывести на чистую воду. Да и трудно такого... Знал, как подмазать, как проехать. Пройдисьвит! Обирал наших мужиков, пользовался, что ветеринаров настоящих, ученых у нас не было. Сам знаешь, если корова поддыхает, у мужика можно полхаты позычить... или бабу на часок. Жадный был до всяких удовольствий, до власти. Эх, не успели мы!.. При немцах подался в начальники вспомогательной полиции. Потом, слышал, к бандеровцам... У тех тоже своя власть была, да ого! Расправа короткая. Темный элемент. Похоже, именно он возле Глухаров бродит. И что ему нужно здесь?⁷

Я пожал плечами. Что ему нужно, Горелому? Колхозная гончарня, рассказывали, при фашистах «отошла» к Горелому, точнее, к его отцу, но отец помер; не могла же удерживать здесь полиция память о былой собственности!

– Говорят, к Нинке Семеренковой он сватался, – нахмурившись, пробормотал Глумский. – Да она, как наши пришли, в Киев уехала. Мало ли что говорят. Вон, говорят, он к Варваре захаживал. Так на то она и Варвара, чтоб захаживали.

Я почувствовал, что краснею. Я изо всех сил старался не допустить этого, но от такого усилия краска разлилась до ушей. Кожу жгло как от огня. Я стал смотреть только на стол, на черные, толстые, похожие на чечевицу ногти Глумского. Ладони председателя лежали на досках как две наковальни.

– Черт его ведает, – Глумский покачал головой. – Вообще-то Штебленок много про него знал. Сталкивались в войну.

– Штебленок?.. Он же нездешний, из Белоруссии.

– Да вот где-то там они и сталкивались. Теперь-то ничего не узнаешь!.. Э, задуй его ветер!..

Мы помолчали. Глумский посмотрел на ходики, которые громко отсчитывали секунды. В сентябре у хозяина каждый день на строгом учете. Я чувствовал себя как рыба, которая попала в вершу: тычется, дуреха, из стороны в сторону, а кругом прутья. И где выход? Ничего я не понимал, надеялся на якость. Якость прояснится!⁸

– А нужно тебе в это дело лезть? – спросил Глумский. Он с сомнением оглядел мой карабин. – Силенок у вас мало, и вооружение против бандитов слабоватое!

– А вы что хотели бы, самоходку?

– Да хоть что... По-моему, держат вас по деревням вроде пугал. Я бы на их месте Гната вооружил. Он страшнее.

Я встал.

– Ну, ладно. Спасибо за беседу, за приятный разговор.

– Не серчай, не серчай. А насчет оружия – ты ж солдат. Дают солдату котелок, а навар он сам ищет. Знаешь, как солдат из топора борщ варил? Пусть Попеленко ко мне зайдет. Мы в деревне у детишек любого оружия наберем. Они все с полей таскают да по сараям прячут...

⁷ Ловкач, пройдоха.

⁸ Авось.

Очень интересуются оружием. Дурни! – Он странно хмыкнул и отвернулся. – На меня можешь полагаться, если дело дойдет до стрельянины. Все?

– Штебленок у Маляса квартировал? – спросил я.

– А ты не знаешь! – усмехнулся Глумский. – Привычка у ваших – все спрашивать да спрашивать.

Он вышел вслед за мною – выводить Справного на утреннюю прогулку. В приотворенной двери сарая я увидел тонкую удлинённую морду жеребца. Королевская белая, как горностаев мех – я видел такой мех на старых картинах, – полоса, тянувшаяся вдоль храпа ото лба, блеснула в сумраке. Глумский никому не показывал жеребца, боялся дурного глаза. Этого красавца он держал у себя в сарае беспривязно, никому не доверял, сам на нем почти не ездил и особенно тщательно скрывал от районного начальства. Справный был гордостью Глухаров, их честью, наконец, основой колхозного благосостояния.

– Н-не балуй, – выдохнул председатель, и столько любви прозвучало в голосе этого угрюмого, маленького, сутулого человека, что я остановился от удивления. Его ли голос я слышал? Откуда такая воркующая нежность?

Жеребец бил копытом в перегородку, всхрапывал... В колхозе были две лошади, если не считать Лебедки, числящейся за «ястребками», а точнее, за Попеленко, который, как многодетный отец, полагал, что имеет на лошадь особые права. Справный стоил всех трех и еще сотни. Соседние колхозы водили в Глухары своих захудалых кобыл, надеясь улучшить породу. Глумский брал за это с соседей семенами – пшеницей, картошкой. «Семя на семя», – говорил Глумский, показывая свои бульдожьи зубы.

– Все еще меня не признает, нервничает, – пожаловался Глумский. – Вот кто тебе про Горелого рассказал бы! Это его был конь, полицай его откуда-то с племенного завода взял... Н-но, малыш! – прикрикнул он на жеребца, когда тот дернулся, не давая надеть узду.

6

Маляс, охотник и талалай, жил за четыре дома от Глумского, на взгорке. Было бы кстати, если бы эти хаты стояли впритык, тогда сюда водили бы школьников, чтобы показывать, про кого написана басня о муравье и стрекозе. Хата у Глумского была чисто побелена, покрыта свежей соломой, утеплена высокими завалинками и погружена в букет из золотых шаров, что росли за крепкой, плотной оплетки изгородью.⁹

Хата Маляса и сейчас, и до войны выглядела так, словно только что пронесся ураган. Словно ее долго крутило в воздухе, а потом шваркнуло на землю так, что крыша просела, как седло, и окна пошли враскос. За покосившимся дырявым плетнем росли две яблони, да и те дички, «свинячья радость». Но Маляс всему находил толковое объяснение. Он говорил, что благодаря такому образу жизни оказал сопротивление немецким оккупантам. Они никогда не останавливались у него на постой. И если бы все жили так, как он, Маляс, то немцы просто перемерли бы с голоду и холоду, потому что, мол, они к таким условиям совершенно непривычные.

Отчего Штебленок, приехав в Глухары, остановился именно в этой хате, было непонятно. Бабы толковали, что всему причиной жена Маляса, но это уж наверняка были чистые сплетни. Я подумал об этом, когда Малясиха вышла меня встречать. Она была совершенно квадратных форм – самодвижущийся противотанковый надолб, украшенный цветной хусточкой. Половицы под Малясихой потрескивали. Она, поднатужившись, могла бы развалить эту хилую хату, если бы вдруг оказалось узко в двери.

⁹ Болтун.

– Заходите, заходите! – обрадованно запричитала хозяйка. – Ставьте ваше ружье вот в тот куточек. Там тепленько... Да ничего, ничего, чтой-то вы ноги обиваете, у нас паркетов этих самых нету...

Так ласково меня у Малясов еще не встречали. Неужели оружие делает человека желанным гостем?

Сам хозяин занимался тем, что обматывал проволокой расщепленный приклад своей одностволой тулки шестнадцатого калибра. Здесь же на столе высилась горка серого бездымного трофейного пороха – «мышинные котяшки», так мы его называли. Три драгоценные картонные гильзы с медными доньшками, жеванные, сто раз бывшие в употреблении, стояли рядом с порохом. Маляс готовился выйти в лес.

– А... *коллега*, – сказал Маляс. – Садись, садись, того-сего. Гостем будешь.

Почему он назвал меня коллегой, я не понял. Может быть, увидев карабин, он причислил меня к великому племени охотников?..

– А не разорвет? – спросил я, указывая на порох и на ружье.

– Оно? Никогда!.. Бельгийское! Давно бы новое купил... «Зауэр» предлагали, да – жалко!

Тем временем Малясиха поставила на стол бутылку. Я понял, что «ястребку» грозит опасность не только со стороны бандитов.

– Из этого ружья я в лесу, того-сего, кабанчика уложил на сто метров... Заграничный предмет...

Вообще, у этого охотника все было удивительное: ружье, собака, которую он называл сеттером-лавераком, что всегда производило сильное впечатление на слушателей, коза, дававшая якобы до шести литров молока в день, и тому подобное. Маляс был типичным деревенским трепачом.

– За стол, за стол, ласково просимо. – Малясиха просто-таки щебетала. – Вот закусить нечем. Мы народ простой.

– Естественный народ, – поддакнул хозяин.

– Кроме козы, никого не держим, а какая с козы закуска? – продолжала Малясиха.

– Я не кулак какой-нибудь. Я охотник, свободная личность, – сказал Маляс, который слыл в Глухарах начитанным человеком.

Они набросились на меня, как два гудящих шмеля, не давая слова сказать. Они, по моему, и не хотели, чтобы я сказал хоть слово.

– Пошел бы на охоту, да нынче самого в лесу могут того-сего.

– Ты балакай, да не забалакивайся! – Хозяйка толкнула мужа в плечо кулаком, и толчок был основательным.

Маляс, тряхнув головой, тут же оставил опасную тему.

– Я, как человек нематериальный, не к богатству тянусь, а к культуре. – Он нагнулся и вытащил откуда-то из запечья балалайку с одной струной.

– Он сильно веселый, – похвалила мужа Малясиха. – Некоторые живут непонятно, а мы все на виду! – Маляс в подтверждение ударил по струне. – Он сыграет, сыграет. – Малясиха, подумав, вытащила из печи горшок с кашей.

Это, конечно, была вся их еда на сегодня и, может быть, на ближайшие дни.

Я отказался от выпивки. Хозяин тут же принялся угощать меня охотничьими байками. Скорострельность у него была высокая, как у авиационного пулемета. Следующую историю он начинал, не досказав предыдущую.

– Слушай, Маляс, – сказал я, не став дожидаться, когда иссякнет запас баек. – Расскажи про Штебленка. Только без брехни. Все, что знаешь.

– А чего Штебленок? – спросил Маляс. – Штебленок он и был Штебленок, хороший человек, того-сего, царствие ему небесное.

Вдохновение Маляса иссякло, как только потребовалось перейти от фантазии к точному рассказу. Он наморщил лоб, съежился. Блеск в глазах потух. Истребитель волков, великий выдумщик исчез, передо мной сидел желтолицый высохший старичок с кудлатой бородкой.

– Почему Штебленок пошел в райцентр? – спросил я.

Мне показалось, Маляс вздрогнул. Он как-то жалобно взглянул в сторону супруги, как будто ожидая от нее тумака. Ну и мужичков оставила в деревне война!

– В райцентр собрался. В Ожин, – ответил Маляс, поразмыслив.

– Это я тебе сказал, что в райцентр. А зачем?

– Честное слово, не знаю, – сказал Маляс после очередного раздумья.

– А что ты знаешь?

– Да ничегошеньки он не знает, он же дурень у меня, – вмешалась Малясиха. – Вы ж посмотрите на него! Посмотрите!

И она уставилась на супруга, как будто не успела налюбоваться им за двадцать лет, приглашая и меня заняться тщательным разглядыванием Маляса.

– Штебленок ничего не сказал перед уходом?

– Ничего... Он вообще... С белорусской стороны, что с него взять... Темнота!

– Ты толковой говори, не заговаривайся! – буркнула Малясиха.

– Про Горелого не упоминал?

Маляс оживился. Видно было, что разговор миновал какую-то опасную для него точку. Он заморгал редкими ресницами, припоминая.

– Было дело, было... Как-то разбеседовались мы. Мы часто беседовали – он ко мне с доверием, пониманием. Он, Штебленок, того-сего, в партизанах войну отходил. Там, на белорусской стороне. В отряде Козельцева... Ну и рассказывал, что Горелый в тот самый час много крови им попортил...

– Фашистский недолюдок! – вставила супруга, которая бдительно следила за правильностью разговора.

– Недолюдок! – согласился Маляс. – Он, Горелый, у немцев большую силу имел. Вот они ему поручили набрать этот, того-сего, как бы точно сказать... противопартизанский отряд. Ну, обманной. Бандеровцы, а не отличишь от партизан! Ну никак!

– Ты балакай, да не забалакивайся! – снова вмешалась Малясиха. И повернулась ко мне: – Если он чего не так скажет, вы уж не взывайте. Плетет мандрону какую-то...

– Ну и действовал этот отряд на манер партизан, – продолжал хозяин. – По лесам бродили... Немцы ничего с партизанами не могли поделать, так пустились на хитрость, того-сего. И этот обманной отряд если где наткнулся на настоящих партизан, то их уничтожал... Или на немцев выводил. Обманом. Ну и, кроме того, в деревнях грабежами, убийствами занимались, катовали людей по-всякому, чтобы обозлить против партизан! Ведь те думали – свои, встречали по-людски... А эти вот, вроде партизан...

– Фашистские изверги, – вставила Малясиха.

– Ну да, душегубы. Вот и Штебленок со своими нарвался на этих, того-сего... на гореловских. Был у них бой. Штебленок рассказывал, много партизан из-за обману погибло. После этого Горелый у фрицев гончарный заводик выпросил для батьки своего. Немцы, они следили за этим делом, того-сего, за материальным вознаграждением. Насчет этого у них продумано было, расписано. За пойманного партизана свободно могли корову дать, к примеру, или гектара два... За сочувствующего, – скажем, овцу или соли кило.

– Вот-вот, – перебила мужа Малясиха. – Изверги!.. Некоторые при них богатели, а у честного человека ни кола ни двора, вот как у нас.

– Честный – он как был, того-сего, так и остался ни с чем, – совсем уж некстати заключил Маляс.

По-моему, супруга слегка стукнула его ногой под столом – бороденка вдруг дернулась.

Я постоянно ощущал напряженность в ответах. Неужели мне теперь не придется разговаривать с односельчанами свободно и легко, как раньше, до карабина?

– А вы после ухода немцев ничего про Горелого не слышали?

– Да что он нам, Горелый, бандера, ведьмин он сын? – сказала Малясиха. – Мы с ним в тычки не гуляли. Нам он не докладывался.

– Может, Семеренков, того-сего, что слышал? – вопросительно взглянул на жену охотник. – Семеренков у батьки Горелого на заводике гончаровал.

– А что? – радостно встрепенулась Малясиха. – Семеренков и вправду извергам этим служил. Глечики делал. А из этих глечиков немцы молоко пили... Мы вот – мы ничего не делали.

– Ну, из глечиков все пили, – попробовал было восстановить справедливость Маляс, но быстро стих под взглядом супруги. «Не забалакивайся, а то...» – прочитал он в этом взгляде.

– Куда старшая дочь Семеренкова делась, Ниночка? – как бы сама себе, не глядя ни на кого, задала вопрос Малясиха. – Исчезла, и все тут. Неужто с немцами ушла? Горелый за нее сватался... Ой, красивая девка Ниночка!

Я помнил Ниночку. Когда до войны приезжал на школьные каникулы, то каждый раз влюблялся в нее. Она носила беретик, завивала волосы щипцами в мелкие кудельки и на вечерах в клубе хохотала громче всех. Любила она парням головы кружить. Перед войной ей было года двадцать два, а мне шестнадцать. Ясное дело, я на нее только издали глазел, а подойти боялся. Антонину, младшую, я тогда не замечал. Кажется, у нее был остренький носик... Неужели это она шла с коромыслом на плече по озими?

– Антонина – та тоже шашура, – продолжала Малясиха. Она словно следовала за моими воспоминаниями. – Ходит, на людей не глядит. А чего это она не глядит? Платком накроется, очи до долу. А чего молчит? Вдруг занемела. Язык ошпарила?

– Ладно! – сказал я. Когда речь заходила о соседях, Малясиха вдохновлялась, так же как Маляс в своих охотничьих историях. – Все-таки насчет Штебленка. Почему он отправился в райцентр? – Малясиха сразу сникла. – Что он делал в то утро?

– Да ничего, – ответила хозяйка. – К швагеру мы ходили вместе, к Кроту. Швагер кабанчика заколол, так просил помочь засмалить... Вот ведь живут люди! В Киев сало возют, за триста верст!

– Крот – богатый мужик, – поддержал жену Маляс.

– Ну и что делал там Штебленок?

– Да ничего... Крот просил его забойщику помочь. А только Штебленок не стал. Некогда, говорит. Повернулся и пошел. А мы остались.

– Вкусная штука – кровяная колбаса, того-сего, – сказал Маляс, вздохнув.

...Когда я выходил из хаты, Малясиха, отодвигая какой-то мудреный ржавый засов, сказала шепотом:

– Товарищ Капелюх, а правду говорят, «ястребкам» в районе керосин выдают и ламповые стекла? Вы на нашу долю, как тяжело страдавших от немецкой оккупации, не можете выпросить?

Так и объяснилась причина ее любезного обращения и гостеприимства. И это было, кажется, единственным моим открытием.

Я пожал плечами.

– Штебленок говорит, что должны давать, – сказала она. – Да вот, не успел...

Наверно, она по-своему жалела о гибели постояльца. А почему бы и не жалеть? Надвигались длинные зимние вечера, и проводить их без света тяжело, да еще в нетопленной хате. Нет, я не спешил осуждать Малясиху. Гораздо хуже было то, что Малясиха и ее муженек что-то недоговаривали... А почему люди должны выкладывать мне правду? Может, это опасно для них. Бандиты рядом, и ни я, ни Попеленко не представляем надежной защиты. Конечно, не

бандиты хозяйничали в селе. Но и не мы с Попеленко. Хозяйничал страх. И это было моим вторым важным открытием. Если бы нам удалось одержать хоть какую-нибудь маленькую победу над бандитами – многое изменилось бы. Если бы удалось хоть на минуту высвободить людей из-под гнета!..

Я думал об этом, направляясь на гончарню, к Семеренкову.

7

Туман уже поднялся, рваными клочьями уплыл в сторону лесов и очистил село. С пригорка, где стояла хата Маляса, были хорошо видны все Глухары – два ряда рубленых, беленых и крытых соломой домов, образывавших длинную улицу, которая полого спускалась к гончарному заводу, или просто гончарне, – большому, под облезлой, темной соломенной крышей сараю с двумя толстыми кирпичными дымарями. Эти трубы делали сарай похожим на допотопный пароход, как их рисуют в школьных учебниках. Ну а уж если завод был пароходиком, то Глухары – караваном барж, которые пароходик тащил куда-то в лесное море, навстречу темно-зеленым волнам, навстречу неизвестности.

Сразу же за заводом, за несколькими карьерами, где добывали червинку – красную глину, начинались сосновые леса, за ними шли березняки и, ближе к болотам, ольшаники и осинники. К бортам каравана леса подступали не так плотно, здесь была нейтральная зона из капустных, картофельных полей и огородов, участки колхозного ячменя и жита; нежной зеленью выделялся озимый клин, по которому змеилась тропка, ведущая в лес, к роднику.

За озимым клином, на темной пашне кудлатой вербой шайкой лежал Гаврилов холм, Горб, как коротко говорилось у нас, – место, с незапамятных времен выбранное для цвинтара – погоста, деревянной церквушки, размалеванной самодеятельными богомазами с гончарни, и кладбища. Церковь сторела еще в годы гражданской войны, кладбище же разрослось, поползло с вершины Горба к пашне. К высоким, хорошо видимым издали восьмиконечным крестам – в наших краях питали пристрастие к ним, рубили их из крепких лесин, украшали резьбой, орнаментом и затейливыми изречениями – вела узкая, но торная дорожка, обсаженная акацией и плакучими вербами. На Гавриловом холме лежал мой дед Иван Капелюх, заехавший сюда якобы из степного Запорожья да так и оставшийся здесь, среди лесов и бедных песчаных почв.

Туман все поднимался над верхушками деревьев, но как высоко ни вздергивало солнце этот занавес, глазам повсюду открывалось только одно: леса. Поначалу зеленые, с проплетью сентябрьской желтизны, они, чем дальше хватал взгляд, лиловели, сиреневели и мало-помалу превращались в зыбкое марево непонятого оттенка.

Дороги, самоуверенно и резко пересекающие огороды и поля, терялись в необъятности лесов, исчезали, как нитки, упавшие на ковер. Двумя дорогами можно было выехать из Глухаров. Та, что вливалась в улицу с юга, горделиво именуемая глухарчанами Ожинским шляхом, соединяла наше село с райцентром – через Шарую рощу, через Иншу; северная же, шлях Литвинский, скользнув у стен заводика и обогнув карьеры, вела в белорусскую сторону, к мокрым листовым лесам и болотам. Была еще и третья дорога, – начинавшаяся от центра села, она, через хутор Грушевый, могла вывести в большое ярмарочное село Мишкольцы. Но сейчас туда почти никто не ездил. Знаменитые осенние мишкольские ярмарки за годы войны захирели, а кому надо было попасть в Мишкольцы, выбирал кружной путь – к реке Инше. Дело в том, что Мишкольский шлях проходил мимо УРа – страшное название! Им в наших краях пугали детей: «Вот отведу в УР», «Не бегай в лес, в УР попадешь».

Раньше в слове «УР» ничего такого пугающего не было, оно сокращенно обозначало – «укрепленный район». Перед войной в наших местах начали строить оборонительную линию. Она должна была протянуться от непроходимых северных болот до южных степей. Но успели выстроить лишь несколько участков, да и те не были полностью закончены, когда воссоедине-

ние с Западной Украиной отодвинуло границу. Сеть противотанковых рвов, блиндажей, землянок, дотов, эскарпов, подземных хранилищ и ходов сообщения, наблюдательных пунктов образовала на берегу болотистой речушки Нижвы запущенный и таинственный город. Когда строили укрепрайон и многие глухарчане работали там и неплохо зарабатывали, кратенькое словечко «УР» произносили весело, даже лихо и в частушках склоняли. Помню, как в осенний предьярмарочный день широкоплечая тетка, загорелая на жнивье до цвета спелого паслена, пританцовывая на току, выбранном для гульбы, напевала: «Я поризала всех кур тай подалася на УР...» Тетка была здоровенная, с толстыми ручищами, и очень легко можно было представить, как это она, разъярясь, порезала всех кур.

Когда УР был брошен, он, конечно, тут же превратился в пугало. Как любое оставленное людьми сооружение, как все непонятное, он стал внушать людям чувство суеверного ужаса. Тут уж родилось столько легенд, что Гоголь позавидовал бы нашим сказаниям. Уж кого только не встречали наши бабки возле УРа! И ведьмаков, и полисунов, и одминок, и мавок, и упырей, и вовкулаков, и перелестниц, и болотяников, и сыроедов, и даже совсем никому неведомых рахманов. Про обычных чертей и говорить нечего, чертей там, считалось, больше, чем зайцев. Но теперь дело было не в одной лишь мистике. После того как фрицы драпанули из наших краев, в УРе собралось всякое фашистское охвостье. Как на Лысую гору, они хлынули в этот УР, потому что там было где притаиться. Полицаи, старосты, переводчики, бандеровские, бульбовские, мельниковские «боевики» – те, кому немцы дали под зад, чтобы не тащить на кормежку в Германию, и те, кого они оставили с умыслом, принялись растапивать в УРе землянки и совершать дружные набеги на полесские села. Пока поблизости находились воинские соединения, пока партизанские отряды, которые хорошо знали, как воевать в этих местах, еще не влились в регулярные части, УР несколько раз основательно чистили от этих «бандер», как в народе коротко называли всех разномастных предателей и изменников. Кого прихлопнули, а кто сдался, надеясь на милосердие суда, и наконец в УРе осталась лишь такая сволочня, которой от правосудия нечего ждать, кроме пули или петли. Это были отчаянные, по-своему смелые и находчивые хлопчики, и войну они понимали ясно, как букварь. Выкуривать их из УРа с его лабиринтами стало некому, фронт ушел далеко на запад, даже тыловые части оттянулись, и защитой от бандюг, по замыслу, должны были явиться бойцы истребительных батальонов, или «ястребки».

Нечего было и говорить, что в сторону УРа мне дорожка была заказана. Если раньше я еще рисковал добираться до Грушевого хутора, где жил товарищ мировой посредник Сагайдачный, то теперь мне туда соваться не стоило. От хутора, что лежал на восьмом километре Мишкольского шляха, до УРа было рукой подать. Сагайдачного, кстати, это соседство не смущало. Он не боялся бандитов. Говорил, что провел в Грушевом большую часть жизни и не собирается волноваться из-за части меньшей. Может быть, как человек с такой гетманской фамилией, он рассчитывал на снисхождение бандитов? Или же старик жил под влиянием тех прекрасных книг, что стояли на грубых многоэтажных полках его хаты, и не мог представить, что такое Горелый? Горелый, который предпочитал вешать людей на пружинящем кабеле.

Да, вот так обстояло дело. Плохо обстояло дело. И не было у меня права сидеть на месте и ждать, когда бандюги укокошат еще кого-нибудь.

Постояв у дома Маляса, полюбовавшись лесами, которые выплыли из тумана во всей необъятности, я отправился дальше – к гончарному заводу.

8

Трубы его дымили всюду. Он и в самом деле вел за собой Глухары, как караван, этот маленький колхозный заводик-трудяга. Он кормил село – залежи червинки возмещали скудость полесской земли. Добрая половина глухарчан работала на гончарне. А рачительный

хозяин Глумский говорил, что, пока он не получит удобрений, машин, семян, пока не вернуться здоровые мужики, колхоз будет жить на двух китах: гончарном заводике и жеребце Справном. Потому что лошади и посуда всегда нужны. И тем более они нужны на Украине, где умеют ценить доброго коняку и где не могут обойтись без звонкого глечика или вместительной макитры.

Во дворе сарайчика я увидел эти макитры. Они стояли штабелями под открытым небом – макитры, глечики, горшки, куманцы, барильца, свистуны... Каждый раз, когда я смотрел на все это искрящееся красками, блестящее глазурью богатство, я раскрывал рот, застывал и чувствовал, что у меня «очи вылупляются, наче курьи яйца», как выразилась однажды бабка Серафима, когда ее первый раз вывезли из Полесья на железную дорогу и она устала на паровоз.

Мне казалось, что это невозможно. Невозможно, чтобы люди, которых я знал, которые жили по соседству со мной, пели и пили на свадьбах и крестинах, ругались между собой, заваривали мешанку для кабанчиков, торговались на ярмарках, лузгали семечки на вечеринках, шинковали капусту и солили огурцы, вспахивали землю, запрягшись в плуг вместо лошадей, рубили лес до кровавых мозолей, корчевали пни, молились Богу и кляли его, чтобы эти обычные, погрязшие в трудностях деревенского быта люди сотворили такую красоту. Как они сумели? Как создали из ничего, из земли, которую вскопали тут же, поблизости от села, эти тонкогорлые певучие глечики, похожие на пасущихся овец, барильца, куманцы, которые, свернувшись в кольцо, подобно валторне, кажется, вот-вот готовы зазвучать, как расцвели их веточками хмелика, тонкими «сосоночками», кривульками, фиалочками, глазками волошинок, клинцами, смужками, зирочками, опусканиями, «курячьими» лапками, виноградиком, решеточками, пасочками – словом, всем традиционным и никогда не повторяющимся рисунком?

Я толкнул большую, обитую тряпьем дверь и вошел в сарай. Дверь вела в завялочный цех, проще, в сушильню. Здесь горела большая красного кирпича печь и на деревянных полках всюду стояла сырая, одноцветная посуда – она теряла влагу в этом знойном южном климате, насыщенном запахом сырой земли. У печи много лет проработала бабка Серафима, оттого, наверно, она стала такой сухонькой, сморщенной и темнокожей. Полжизни она провела в Африке, Серафима, не подозревая об этом. Да и вообще она не знала о существовании Африки. Она работала здесь, чтобы выучить дочь, а затем чтобы выучить меня, а уж я-то стал совсем образованный, узнал про все континенты; о таких ехидные глухарчане говорили: грамотный, вдвоем с братом букварь скурил. Так что завялочному цеху я был кое-чем обязан.

Теперь у печи вместо состарившейся Серафимы колдовала Кривендиha. Она оглянулась, посмотрела на меня, на мой карабин, ничего не сказала и склонилась к груде березовых чурок. Нельзя проводить полдня у раскаленной печи и оставаться любопытным.

Дверь налево вела ко второй печи – где раскрашенная и глазурованная посуда проходила обжиг. Я повернул направо, к большому общему залу, который был отделен от сушильни рваным брезентовым пологом. В холодную пору этот полог поднимали...

Я не сразу вошел в зал, чуть отодвинул полог и остановился, наблюдая. Не то чтоб я хотел тайком подсмотреть что-то любопытное, как сыщик. Просто неловко было со своим карабином празднично являться к занятым людям.

Этот зал – добрая половина заводика – и был самым важным цехом, где шло священнодействие, где сырая бесформенная глиняная масса превращалась в глечики и барильца и начинала жить. Теснота собрала здесь в одни стены и гончаров с их деревянными кругами, и ангобщиков-раскрасчиков, сидевших за длинными дощатыми столами вместе с лепщиками и глазуровщиками. Все эти профессии предполагали мужчин, но сейчас весь зал был заполнен одноцветными платочками, грубые ватники и трофейные мышинного цвета френчи с огромными накладными карманами не могли скрыть мягкую покатость согнутых женских спин.

Только в дальнем углу, за гончарными кругами, работали мужики, всего трое: Семеренков и два семидесятилетних старичка – беленькие чистенькие близнецы Голенухи, которые еще задолго до войны подались на отдых, но теперь вновь вернулись на завод.

Семеренков был длинный и нескладный мужик, в коротком не по росту ватнике, широкие рукава которого едва прикрывали локти, и от этого руки, и особенно кисти, казались несоразмерно узкими и тонкими. Левая рука у гончара была трехпалой и как будто висела, подворачиваясь под мышку. Он с детства был увечным, Семеренков, но еще до войны, когда на заводике крутился добрый десяток кругов и когда здесь работали потомственные мастера, известные всей округе, Семеренков слыл среди них первым; недаром Горелые, как только «переписали на себя» заводик при фашистах, взяли его к себе. Рассказывали, что когда-то он был учителем, Семеренков, да вдруг полюбил глину, оставил прежнюю профессию. А преподавал он вроде бы историю...

Семеренков ни на кого не смотрел, склонился, выгнув сутулую спину, над гончарным кругом, и, чувствовалось, для него ничего вокруг не существует. Босые ноги с тонкими шиколотками необыкновенно быстро и ловко закрутили спидняк. И, прищурившись, как бы с дальним, только ему самому понятным прицелом, Семеренков бросил на круг точанку – ком красноватой влажной глины. Ком завертелся все быстрее и быстрее, ноги у гончара забегали так, что превратились в какое-то сплошное мелькание, в расплыв, и тут Семеренков протянул свою левую, двигавшуюся будто бы нескладно, точно рачья клешня, руку, и она вонзилась всеми тремя пальцами в ком глины, который от скорости вращения казался сплюснутым застывшим шаром. Большой палец проколол в глине отверстие, горловину, и вдруг этот неподвижный блестящий от влаги шар начал расти, тянуться. Пальцы словно манили его, звали кверху, и вот уже шар стал бочонком, потом колонной, и тут правая ладонь нежно дотронулась до нее, словно погладила, а левая, трехпалая, скользнула еще глубже внутрь, и нижняя часть колонны округлилась, а верхняя стала у¹⁰же и еще быстрее потянулась вверх. Движения босых ступней, крутивших спидняк то чуть быстрее, то чуть медленнее, находились в странном, непонятном мне согласии с действиями рук, касавшихся глины то резко, то нежно, то вдруг отстранявшихся, то вновь прилипавших к материалу. Блеснул металлический шаблончик, пригладил глину, снял шероховатости и как будто уточнил изменения шара.

Я увидел на круге сосуд. Самое удивительное было в том, что сосуд стоял на месте – и рос... Пальцы выращивали его, как какой-нибудь цветок. Все это длилось несколько минут. И вот уже тонкошейей, стройный глечик влажно и торжественно сиял на вращающемся круге. Чудо произошло.

Но Семеренков, видно, был чем-то недоволен. Он замедлил, а затем, словно решившись, раскрутил круг так, что быстрее, наверно, он не мог вращаться. Движения пальцев стали совсем неуловимыми. Вот чуть утончилось горло, круче стали бока глечика, по форме напоминавшие женские бедра. Затем Семеренков склонился в сторону, разглядывая, что же у него там вышло, притормозил, снова разогнал круг, и бока глечика потянулись кверху, стали уже; сосуд принимал удлинённые девичьи формы, теперь он казался особенно легким и хрупким, и Семеренков, наверно, затаил дыхание, чтобы не повредить свое произведение; тонкое горлышко-талиа вдруг расцвело вверху резко выпрямляющимся устьем, и в нем мне почудилась прямая и нежная угловатость девичьих плеч.

Все. Еще два-три убыстрения и замедления круга, скольжение пальцев по блестящей поверхности глины – и Семеренков потянулся за провололочкой, чтобы срезать глечик с круга, переставить его на полку. Тут он повернулся назад, к длинному столу, за которым работали ангобщицы, и в глазах его мелькнуло вопросительное, даже несколько жалобное выражение: «Ну как?» Он не был уверен в успехе работы, ему нужна была чья-то поддержка.

¹⁰ Нижний, рабочий круг гончарного станка.

...И все эти волнения, все старания из-за кувшина, который будет свезен подвыпившим горшковозом в Ожин и там продан какой-нибудь подслеповатой бабке, чтобы ей было в чем хранить ряженку?

Следуя за взглядом гончара, я увидел Антонину Семеренкову. Она сидела в неизменном черном своем платке, скрыв лицо, но я узнал ее по легкому и плавному движению шеи и повороту по-девичьи угловатых прямых плеч. Это к ней обратился за советом или поддержкой отец.

И она, повернувшись к нему, одобрительно кивнула головой, чуть заметно кивнула и улыбнулась слегка глазами. Семеренков облегченно вздохнул и срезал глечик с круга.

Мне очень хотелось увидеть, какая она, Антонина Семеренкова. За то время, что я прожил после ранения в Глухарах, я ни разу не смог взглянуть ей в лицо. Я помнил лишь, что до войны она была остроносенькой девчонкой, тенью старшей красавицы сестры, но ведь не остроносенькая девчонка шла по озими, ступая гордо, независимо и плавно! Платок был повязан так, что прикрывал лицо со всех сторон, словно она нарочно хотела уйти от чьих-либо любопытных взглядов, отгородиться от мира. Я, сам не замечая того, подался вперед, покинул скрывавший меня брезентовый полог и оказался в зале, где остро пахло сырой глиной, как в новой мазанке. Словно бы на сцену вышел из-за занавеса.

Тут только я увидел, что многие работницы, оторвавшись от своего занятия, смотрят на меня. Я опомнился, поправил карабин и сделал вид, будто интересуюсь заводом вообще: ну, как тут идет работа, организована ли противопожарная охрана, все ли тут на месте свои, и не затесался ли какой-нибудь нежелательный элемент, – словом, напустил на себя идиотски важный, занятой вид, который, на мой взгляд, надлежало иметь «ястребку» при исполнении обязанностей, и не спеша, но с бьющимся сердцем, лавируя меж столами, направился к гончарным кругам, к Семеренкову.

Он только что бросил очередную точанку на вращающийся круг и совсем уж было собрался вонзить в глину трехпалую руку, чтобы начать это колдовское выращивание глечика или высокого горшка-стовбуна, но тут наши взгляды встретились. Семеренков продолжал машинально работать ногами, раскручивая спидняк, однако рука застыла над точанкой, и я явственно видел, что пальцы у гончара дрожат. И в глазах его, светлых, подведенных синевой усталости и казавшихся огромными из-за худобы лица и остроты черт, я видел страх. Явственный, ничем не прикрытый страх!

Он боялся меня... Мы встречались раньше – на улице и близ гончарни, во дворе с посудой, куда я заходил из праздного любопытства, – и он улыбался мне исподлобья, вечно занятый какими-то своими мыслями, в которых, должно быть, как на гончарном круге, вращались всякие там глечики и макитры. По-моему, он попросту не замечал меня, как не замечал многих односельчан. Но теперь, когда я пришел на завод в новом качестве, с карабином...

Семеренков обернулся к дочери, но та еще не заметила происшедшей в зале перемены и была занята расписыванием барильца. Коровий рожок с краской, который она держала в руке острым концом к барильцу, непрерывно выделял тонкую и густую струю зелени, и Антонина не могла оторваться, тонким перышком, торчавшим из рожка, она выводила лепестки «сосонки», что тянулись по округлому боку барильца, и это было сложное безостановочное движение, как в той школьной задаче-головоломке, когда надо нарисовать сложную фигуру, нигде не отрывая карандаша от бумаги. Я видел только черный платок, склоненный к дощатому столу, тонкие смуглые пальцы и острый клюв рожка, сочившийся краской. Узор вился, трепетал, усложнялся, по мере того как барильце представляло свой рыжий бок, и когда краска в рожке иссякла, узор был закончен, «сосонка» легла на свое место, окаймив треугольную гроздь виноградника.

Пока я глазел на барильце, а точнее, на пальцы Антонины и ждал, не обернется ли она, Семеренков-отец пришел в себя и, ссутулившись до дугообразного положения, занялся глечиком. Уже возникла из бесформенной глиняной массы тонкая шейка сосуда, округлились бока, но что-то не ладилось у гончара, это и я своим неопытным глазом различал. Шейка то

заваливалась в сторону, то вытягивалась так, что терялась гармония, заключенная в какой-то непонятной мне, но все же осязаемой соразмерности линий. Бока сосуда никак не хотели приобрести изящества и плавности, они казались грузными, кубастыми, словно в зале незримо витал образ Малясихи. Семеренков притормозил мозолистыми грязными пятками спидняк, скovyрнул с помощью шаблонычка глечик и бросил его в угол, где была заготовлена нарезанная кубиками сырая размятая глина.

Я подошел к Семеренкову вплотную и сказал негромко, сгущая общую настороженную тишину:

– Надо поговорить...

Он с готовностью, даже поспешностью снял холщовый грязный фартук, отряхнул комочки глины с ватника и, опустив голову, пошел к выходу. Я зашагал вслед за ним. Нас провожали любопытные взгляды. Даже подслеповатые белоголовые старички близнецы Голенухи и те уставились. У брезентового полога я резко обернулся... И увидел ее лицо!

Оно мелькнуло передо мной лишь на какой-то миг и вновь скрылось, как в окошке, за наплывами черного грубого платка. И меня словно толкнуло что-то, и я понял, что не успокоюсь, пока не увижу это лицо еще раз. Я не задумывался над тем, красиво оно или нет, я не успел этого понять, я не мог бы восстановить в своем воображении черты этого лица, только глаза врезались в память, и опять-таки я не мог бы определить ни цвета их, ни разреза, я только знал, что они взглянули на меня и с испугом, и с какой-то надеждой, и с просьбой. И еще мне показалось, что на этот краткий миг между нами возникло какое-то понимание, замкнулся и тут же выключился странный контакт. И оттого, что я прикоснулся к таинственному чужому миру, мне вдруг стало необычайно радостно. Почему-то казалось, что это счастливое мгновение уже было в моей жизни, только я забыл об этом, но теперь пережил его повторно и конечно же, конечно же еще не раз переживу в будущем, и оно будет еще прекраснее. Нет, нет, ни черта я не успел понять, что же это такое, ничего подобного еще не было со мной, я словно бы осознал вдруг, что жизнь вечна, что прошлое смыкается с будущим, не только осознал, но даже как бы ощутил, и от этого родилось чувство полета, скольжения над землей, как в детском сне.

9

– Куда поведете? – спросил Семеренков.

Он назвал меня на «вы», глядя на черный ствол карабина, который торчал из-за моего плеча. Два с половиной года оккупации приучили людей к мысли, что человек с оружием является полновластным хозяином положения и олицетворяет власть, не терпящую неповиновения. Пора бы мне было это понять.

Не надо было являться с карабином в этот наполненный людьми сарайчик и словно бы под конвоем выводить гончара во двор. Я поспешил. Должно быть, *Закон*, на страже которого меня призвал стоять сам Гупан, говорил что-нибудь насчет того, как расспрашивать людей, которых в чем-то подозреваешь, как обращаться с ними. В первый раз я испытал к этому таинственному Закону нечто похожее на любопытство или даже на уважение.

Я снял с плеча карабин и с нарочитой небрежностью положил его на чурбаки, валявшиеся у входа в сушилку. Неподалеку сияли красками разноцветные обожженные глечики и макитры.

– Разве я веду? – спросил я. – Просто хотелось поговорить. Сядем?

Гончар послушно сел.

– Мне надо знать все о Горелом.

Он вздрогнул. Все-таки он был здорово напуган, Семеренков.

– Я ничего не знаю, – проямлил он, глядя в землю.

Голос у него был басовитый и глухой. В кинофильмах такими голосами говорят отважные герои-полярники или там капитаны на мостиках океанских кораблей. Левая рука, подогнутая,

как подбитое крыло, все дергалась, словно искала точку опоры, и наконец успокоилась, отыскав край чурбака.

– Совершенно ничего?

– Ничего.

– Не может быть. Вы же работали на заводике, когда он «отошел» к Горелым.

– Да, – согласился он. – Это так. И что?

Я решил подбодрить его откровенностью.

– Есть слухи, что Горелый скрывается где-то неподалеку, – сказал я. – Вы должны понимать, как это опасно для людей. Мне надо знать все о Горелом, чтобы выловить его...

Тут он поднял глаза. Печально и как будто сожалея о моей юной, загубленной на нестойкое дело жизни, он оглядел меня. Ничего особенного, конечно, он не увидел. Курносый Капелюх, сто семьдесят четыре сантиметра, весь вдоль и поперек разрезан и зашит.

– Как это – выловить? – спросил Семеренков. – Кто – выловить?

– Мы – выловить, – сказал я. – И вы – выловить. Разве нас мало?

Он покачал головой. Это у него получилось как-то по-стариковски, хотя гончар вовсе не был стар. По-моему, он немного опешил, узнав о моем намерении захватить Горелого. Он смотрел на меня как на уже неживого.

– С кем у него может быть связь? – спросил я.

– Не знаю.

Он снова устался в землю. Я был уверен, что он многое знает. Вовсе не надо было быть психологом, чтобы догадаться об этом, – Семеренков не умел лгать. Это было не по его части. Человек, который вкладывает всю душу в глечики, никогда не научится хитрить. Но он все-таки старался хитрить. Он чего-то боялся. Чтобы *пересилить* этот страх и заставить его говорить, я, наверно, должен был внушить ему страх еще больший, чем тот, что заставлял его выкручиваться. Но разве я мог поступить так? По-полицейски? С человеком, который вырашивает такие глечики... Да нет, вообще с человеком.

– Как вы думаете, почему Горелый ходит вокруг Глухаров?

Семеренков осмотрелся по сторонам:

– Не знаю. Нет, не знаю.

– Скажите, а куда...

Я все-таки удержался от того, чтобы спросить его о старшей дочери. Я почувствовал, как напрягся Семеренков. Левая рука, которая, казалось, жила у него какой-то особой, независимой жизнью, соскользнула с чурбака и убралась еще глубже под мышку. Он ждал вопроса. Застыл и ждал.

– Ладно, – сказал я. – Ладно. Я не буду вас мучить. Идите лепите глечики.

Он тут же встал.

– Если меня или еще кого-нибудь повесят, как Штебленка, на пружинистом кабеле, можете не волноваться, – сказал я вслед. – Вы здесь ни при чем! Вы все выложили, что знали, вы нам помогли как сумели.

Желание быть добрым и снисходительным перемешивалось во мне со злобой бессилия. Я и не пытался разобраться в этой мешанине.

Он сделал конвульсивное движение рукой, как будто мои последние слова толкнули его в спину. Вдруг остановился. Обернулся.

– В последний день Штебленок ходил к Кроту. Когда забивали кабанчика, – сказал он. – Вот как!

И исчез за дверью. Я пожал плечами. Это я и сам знал, что Штебленок ходил к Кроту.

Сентябрьское солнце окончательно расплавilo последние островки тумана, прятавшиеся в карьерах за заводиком, и теперь грело во всю свою осеннюю силу. Красные жучки-«солдатики» выбежали на один из чурбаков загорать. Поплыла паутина. Глечики и куманцы,

собранные во дворе, засияли с особым блеском. Узоры их воскрешали недавнюю яркую красочность лета. Я вспомнил узкие смуглые пальцы Антонины, которые выводили затейливую вязь «сосонки» на пузатом барильце. Мне снова стало легко и радостно. Ладно, Семеренков... Попробуем разобраться без тебя. Славная у тебя дочка.

Но все-таки с чего это он напомнил мне о том, что Штебленок, перед тем как отправиться в Ожин, заходил к Кроту? Что там могло произойти?

10

Я прошел к карьерам, где добывали глину-червинку. Здесь и в сорок первом, и в сорок третьем шли бои. Струги, которыми скоблили глину, часто выщерблялись теперь из-за осколков. На краю одного из карьеров стояли два сожженных нашими «илами» немецких бронетранспортера – хорошо знакомые мне угловатые «гробы» с колесами спереди и гусеницами сзади, фирмы «Бюссинг». Бронетранспортеры, наверно, хотели скрыться от эрэсов в карьерах, но не успели. До чего ж приятно было видеть сожженные вражеские машины! Сколько я уж на них насмотрелся! Но много боли накопилось в сердце, когда они били нас, когда они бросили на нас всю эту чудовищную технику. При виде таких картин боль немного стихала.

Говорили, что вокруг машин валялись сожженные бумаги и среди них попадались обгоревшие деньги. Наши, советские. Фашисты куда-то увозили наши кредитки, но налетели штурмовики, и все превратилось в золу, за исключением нескольких десятков бумажек, о которых в Глухарах ходили легенды.

И заводик горел в те дни, даже не один раз, но война не могла остановить его, потому что гончарное дело так же необходимо людям, как хлебопашеское, оно такое же древнее и такое же простое в своей основе. Оно возникло, когда человек был еще наг и сир, и потому не боялось бедствий, возвращающих к тем временам. Его питала земля, бесконечно щедрая и разнообразная на дары: здесь, в ржавого цвета карьерах, глухарчане добывали червинку, а если им надоедал алый цвет, они ездили к Ершову оврагу за побилом и глеем – белой и вишневой глиной, чтобы расцветить свои глечики. Война, разрушая все вокруг, тем не менее давала гончарам то, что было необходимо для работы. Медь, которую перепаливали в печах для получения зеленой краски, той, что требовалась для «сосонок» и виноградников, содержалась в ведущих поясах неразорвавшихся артиллерийских снарядов, а такого добра, как снаряды, в оставшихся лесных складах было достаточно. С хромом, без которого нельзя нарисовать настоящий «соняшник» на макитре, потому что хром нужен для желтой краски, дело обстояло немного сложнее – за ним снаряжались экспедиции на железную дорогу, на разъезд Ленетичи, где еще в сорок третьем наша авиация разбомбила эшелон с хромистой рудой, шедший в Германию, и где по обе стороны полотна возвышались побуревшие груды нужного гончарам металла. Ну а на глазурь материала было всюду в избытке, потому что она рождается из сплава толченого стекла и свинца, а уж битого стекла и свинца во время войны доставало. И за «опысочной», темно-синей и черной траурной краской, что придает резкость нашему глухарскому орнаменту, далеко ездить не приходилось. «Опыску» получают из кузнечной окалины, что образуется при ковке железа, а в дни войны кузнечный горн, у которого хозяйничал хмурый Крот, пылал всюду, металлов любых хватало и заказов хоть отбавляй: на помощь города не приходилось надеяться.

Да, вечное, загадочное и неистребимое это гончарное искусство, и живучее оно, как весь род человеческий, и способное расти среди разрушений, словно береза на разбитой церкви. «Постой-постой! – прервал я себя. – Ведь заводик наш дымит всюду с первых же дней, как отсюда убрались немцы. Коровьи рожки исправно кладут цветные «смужечки» и «паски», и все горшки – и стовбуны, и кашники, и плоскуны – сияют глазурью, и горки посуды во дворе исправно прибывают и убывают; стало быть, поблизости не должно остаться ни одной пули,

из которой можно было бы вытопить свинец, и ни одного снаряда с не снятым еще медным ведущим пояском. Откуда же берется сырье?»

Лишь один район мог бы питать наш заводик – УР. Страшный, окруженный суевериями и всякими невероятными историями. Там, в подземных казематах, в блиндажах и окопах, оставалось немало военных припасов. Но кто из глухарчан осмелился бы хаживать туда? Выплавкой свинца для заводика, пережогом медных поясков и прочим всяким металлическим делом мог заниматься лишь кузнец Крот. Неужели он добыл себе «пропуск» в УР?» В последний день Штебленок ходил к Кроту. Когда забивали кабанчика. Вот как!» Что все-таки хотел сказать этим Семеренков? Или так выпалил, сдуру?

Кузня стояла чуть на отшибе от села, на Панском пепелище, густо поросшем ольшаником, ивняком, чертополохом, всякой растительной дребеденью. В давние времена был здесь панский дом, его сожгли, а на местах разрушенных жилищ, как известно, не растет ничего путного, сыро там и дурманно. Глухарчане не любили, когда дети играли на Панском пепелище: там, обедаясь черными брызгучими ягодами паслена, они могли отведать и белены. Когда в Глухарях помирал своей смертью не старый еще мужик, бабы толковали: «Не иначе жинка на Панское пепелище ходила». И вспоминали, конечно, песню про бедного Грыця. И так как спеть любили при любых обстоятельствах, то не упускали случая затынуть жалостливо: «Ото ж тебе, Грыцю, за это расплата, из четырех досок дубовая хата...»

На краю пепелища, на крепком бутовом фундаменте одного из сгоревших флигельков, и поставили кузню. До войны, когда мы босоногими хрущами метались по садам, мы часто бегали к стенам кузни, чтобы порыться в металлоломе, который свозили туда. Иногда удавалось найти дырчатое седло от сеялки, сидеть на котором было удобно, как на ладони великана, или штурвал от многолемешного механического плуга.¹¹

Случалось, к восторгу и ужасу нашему, из кузни выскакивал черный, закопченный Крот. Мы считали его ведьмаком, колдуном и дразнили при каждом удобном случае. Крот был зол, жаден, боялся, что мы разворуем его железяки, и, облютев, швырял кирпичные обломки. Неопытными детскими душонками мы ощущали в нем непримиримо вражью натуру, боялись и ненавидели, и оттого обзывали злобно и метко, и доводили его до бешенства.

И вот я снова подходил к кузне, ощущал знакомый запах бузины, чертополоха и горячей металлической окалины, за плечами у меня был карабин номер 1624968. И Панское пепелище стало за эти годы меньше, и кузня съезжилась.

Кряжистый большеголовый Крот орудовал у наковальни, а помогала ему, раздувая мехи и придерживая клещами заготовки, жена – чумазое и пришибленное, ничем не приметное существо. Она всегда ходила за Кротом как тень. У кузнеца было двое сыновей-подростков, и они могли бы стать ему лучшими помощниками, чем жена, но подались по наущению отца в мешочники; в степные, разоренные и насквозь оголодавшие районы они возили картошку, а оттуда – соль. Сам Крот никогда не называл сыновей мешочниками, а говорил с гордостью, важностью: «Чумаки».

Кузнец, увидев меня в дверях, продолжал стучать небольшим молотком, отбивая остывшую уже косу. Жена, согнувшись, хлопотала у горна. В кузне было полутемно. Светились лишь маленькое окошко под потолком да горн. Я подождал немного, но у меня не было желания церемониться с Кротом. Я хорошо помнил, как обломок кирпича, который он запустил, когда мы разбежались от свалки металлолома, ободрал мне ухо и сломал толстую ольховую ветку. Многого можно простить человеку, но, если он ненавидит детей, нечего думать, что в нем можно еще обнаружить какие-то скрытые достоинства.

Он бы долго клепал свою косу, если бы я не подошел и не отодвинул ее прикладом карабина. Тогда он прервал работу.

¹¹ Хрущ – майский жук.

– А, Капелюх, – сказал он мне. – У меня очи стали слабоваты от горячей работы... Устраивайся. – Он указал на какой-то лемех, усесться на который мог бы только человек с железным задом.

– Спасибо, сам устраивайся.

Я подвинул к себе табуреточку, стоящую в углу кузни, у небольшого стола, на котором лежала кожа от свиной колбасы. Не такой ли колбасой потчевали Малясов в тот день, когда Штебленок ушел в район?

Кузнец посмотрел на лемех.

– Выйдем, – сказал он. – Курно тут!

Я обратил внимание, что среди всяких неперменных принадлежностей кузни – тяжелых топоров для рубки металла, зубил, прошивней, бородков, среди заготовок и поковок находятся и небольшие клепаные самодельные тигли, и на одном из них видны полосы припекшегося свинца.

– Чего надо? – спросил Крот, прислонясь к коновязи.

Как бы он встретил полиция, если бы тот вот так же, как и я, с винтовкой за плечом, явился к нему, когда здесь хозяйничали фрицы? Небось он, Крот, призадумался бы, прежде чем открыть рот, о целостности собственных ребер. С властью, которая призвана защищать тебя, можно позволить себе грубость, она сойдет с рук. И я снова подумал о *Законе*, который при-таился в толстых книгах и, казалось, был неизвестен мне, но, видно, все же впитался с детства и диктовал свою волю. Я никак не мог позволить себе использовать преимущество, которое давало оружие и власть, чтобы унижить человека, даже если тот держался нагло. Особенно трудового человека... хотя, впрочем, разве *Закон* может давать кому-либо преимущества?

Пчела, залетевшая на пепелище, где цвели обманутые теплом бабьего лета одуванчики, принялась кружить у самого носа кузнеца, раздумывая: ужалить или нет? Но Крот не обращал на нее внимания. Кожа у него была покрыта таким слоем окалины и сажи, что о нее можно было сломать иглу-«цыганку», не то что пчелиное жало. Черный жесткий брезентовый фартук прикрывал Крота как щит. Не подступиться было к этому мужику.

– Ты поставляешь свинец и медь на гончарню? – спросил я.

– Я, – сказал Крот. – И окалину они берут.

– Не задаром, конечно, – сказал я.

К делу это не имело отношения, но пчела улетела, и я пожалел, что она все-таки не попыталась ужалить. Крот пожал плечами. Конечно же он брал с колхоза и за окалину. Хотя кузня числилась за колхозом, как и гончарный заводик, Крот, пользуясь положением единственного кузнеца, не упустил бы своего. У таких полушка в щели не завалается.

– Из пуль свинец льешь? – спросил я. – Медь – из поясков?

Он кивнул. Из кузни доносились хрип и взвизгивание работающих мехов.

– Не раздувай, не раздувай зря, дура! – крикнул Крот, приоткрыв дверь. И сердито повернулся ко мне: – Еще чего?

– Где ты все это берешь?

– А кому какое дело? – спросил он, переминаясь с ноги на ногу.

– Есть дело!

– «Ястребки» у нас долго не держатся, – сказал кузнец. – Я бы, Капелюх, на твоём месте отказался от этой работы. Паек маленький, а риск большой. Можно посунуться, как собака с соломы.

Он хотел разозлить меня, чтоб я взвился, а он бы наблюдал из-за своего брезентового щита. Ведь я был тем мальчишкой, который со всех ног убежал с Панского пепелища, заведя прожженный фартук. И отчего это в книгах кузнецы всегда благородные люди? Наверно, писателям кажется, что если человек силен и стучит молотом по наковальне, то он правильный человек, а вот кладбищенский сторож или парикмахер – это копеечник. Наверно, существует

обманная красота профессий. У нас в дивизии повар был – честнейший и бескорыстнейший парень, бездомному цуцику наливал гуще, чем себе, а все ребята под конец раздачи заглядывали в котел, чтобы обнаружить на дне лучшие куски мяса, потому что повару положено скрывать привар для себя и для начальства.

– Слушай, Крот, – сказал я. – Я смогу тебе много неприятностей сделать. Ты мне поверь! То, что он старался разозлить меня, настораживало.

Крот присматривался ко мне. Да, это я драпал с пепелища, но с тех пор прошло много времени, а главное, два с половиной последних года я провел на передовой, у Дубова. «Языки», которых мы притаскивали с той стороны, понимали Дубова без слов. Перед ним они почему-то всегда изливали душу, стоило ему только посмотреть. Увы, таких высот я не достиг. Но кое-чему научился. И теперь Крот размышлял.

– Пользоваться военным добром не запрещено, – сказал он. – Все равно сгниет.

– Откуда таскаешь?

– Мне таскать некогда.

– Кто же тогда? И откуда?

Он замялся.

– Отвечай!

– Гнат таскает...

– Брось брехать!

– Собаки брешут!.. Гнат, говорю... Я его научил. Чего тут сложного? Тут и кого хочешь выучишь.

Вот в чем было дело. Крот догадался, какую выгоду можно извлечь из деревенского дурачка. Гнат не понимал риска. Ему, наверно, даже нравилось отбивать зубилом желтые ободки со снарядных чушек. Он отыскивал снаряды с азартом, как грибник отыскивает боровики. Кусок хлеба или пара луковиц казались ему царским вознаграждением.

– И много надо для завода меди?

– Да нет... Може, фунта четыре в день.

Это значило, что Гнат отбивал ободки с полусотни снарядов. Взрывателей он, конечно, не отвинчивал. Действительно, дуракам – счастье.

– Пули он тоже приносит?

– Приносит. На глазуровку идет по десяти фунтов свинца.

Он становился разговорчивее, Крот: опасался, что я могу отобрать у него Гната. Конечно же дурачок приносил ему большой доход.

– Куда ходит Гнат? – спросил я.

– Мое какое дело, – кузнец пожал плечами.

– Куда он ходит?

– Думаю, в УР ходит, – сказал кузнец, подумав.

– Не боится?

– Чего ему бояться?

Итак, я узнал, кто регулярно бывает в УРе, но красивый план, что созрел, когда я шел к Кроту, рухнул. Конечно же, конечно же в УР без опаски может ходить лишь тот, кого бандиты хорошо знают... И – Гнат! Нет ничего удивительного, что нынешние временные хозяева УРа не трогают этого человека, он для них не опасен. Он не сможет никому объяснить, где был и кого видел. Сознание Гната как разбитое и распавшееся зеркало, оно отражает мир по частям, а вместе уже ничего не сложишь. Он смеется, когда впору плакать. Он вообще все время весел. Быть может, он живет в комнате смеха. До войны, вспомнилось, Гнат рассказывал односельчанам, как пьют пиво в Москве. Больше всего – после метро, конечно, – его поразил электрический насос, который разливает пиво в кружки. «Пш, пш, по!» – говорил Гнат, показывал пальцем, как льется струя, и непрерывно смеялся. Он запрокидывал голову и, шевеля кады-

ком, пил воображаемое пиво. Глухарчане любили послушать Гната. В село редко приезжала кинопередвижка, скучно было.

– Это я ему такое задание дал, чтобы поддержать дурака, – объяснил Крот поспешно. – Надо ж ему кормиться. Мне ж его жалко.

– Ну ладно, Крот, – сказал я. – Все ясно!

– Я тут своей старухе скажу, у меня «кровяночка» и... бутылка найдется, перекусим. – Он конечно же боялся, что потеряет дурачка Гната. – Как у нас говорят, лучшая рыба – свиная колбаса! – сказал Крот.

Самое удивительное, что лицо его по-прежнему оставалось непроницаемым и неподвижным. Он даже не делал попытки улыбнуться. Он просто подманивал меня с деловитостью рыбака, сыплющего в воду приваду.

– Слушай, Крот, – сказал я, – ты когда кабанчика забил?

– А чего? Что я засмалил?.. Ну, то ерунда.

Тот, кто забивал кабанчика, должен был составить об этом соответствующий акт, собрать щетину и сдать ее государству. Самовольный забой и осмаливание кабанчика считались нарушением какого-то постановления. Но это никак не касалось «ястребков».

– Ты Штебленка в гости звал? – спросил я.

– Да не в гости... Просил забойщику помочь. Кабанчик у меня пудов на девять был, так я забойщика позвал. А чего?

– Да так. Куда Штебленок ушел от тебя?

– А черт его знает! Чудной! Поздоровкался, а потом вдруг сорвался с места. Как скаженный!

– Что с ним случилось?

– Да ничего... Даже от чарки отказался.

И я пошел с Панского пепелища. До войны пепелище было темной и густой рощей, целым континентом. Оказалось, это крохотный клочок чагарника в ста метрах от села. На краю кустарника, как грибок, маленькая, невзрачная кузня, в кузне – Крот. Никакой не злой колдун, а просто жох и куркуль с некоторым индустриальным уклоном.

Вот все, что я узнал. Эх, Капелюх, разведчик!..

11

Вечером я надел френч с накладными карманами, почти новый; только левый нагрудный карман, против сердца, был попорчен штыком. К счастью, русским четырехгранным штыком. Как известно, раны от этого штыка заживают плохо, но вот дырки на одежде латаются легко, куда лучше, чем разрезы от немецких тесаков. Следа не остается. В Глухарах знали толк в военной одежде и умели латать дыры. Никто не видел ничего зазорного в том, чтобы раздеть мертвеца. Живые оккупанты не хотели платить за убытки, платили мертвые. Это была лишь слабая степень возмещения потерь. Бабка Серафима тоже раздобыла где-то этот френч, прекрасный френч с одной малюсенькой дырочкой против сердца. Она сохранила его для меня, подштопала дырочку и пришила красноармейские жестяные пуговицы со звездой вместо немецких дюралевых, с шершавыми оспинными глазками.

Я бы никогда не надел этот френч, пахнувший *чужими*, но моя гимнастерка, хлопчатка, трижды «бэу», протертая кое-где до марлевой белизны и прозрачности, никак не годилась для вечерних визитов. А я собрался в гости. Серафима выразила величайшее сожаление по этому поводу, она сказала: «Чтоб тебе пекотка не дала там высидеть, как ты меня бросаешь на Ивана-постного... Чтоб ладком побыть в святой день, чертова кульга, так нет, весь в свою матку, та тоже такая и такая была...»

Бабка сразу учуяла, что я собрался к Варваре, стоило мне лишь звякнуть медалями, которые я отцеплял от гимнастерки. Мне до смерти не хотелось идти к Варваре. Но было нужно. Я не сомневался, что она скажет правду, если только ей известна эта правда. Ведь не может женщина соврать мужчине, которого она провожала во втором часу ночи. Как она может соврать, если была в одной лишь наброшенной на рубашку жакетке, если, открывая щеколду, припадала к плечу и говорила слова такие ласковые, что было неловко их слушать! Пусть другие боятся и юлят, пусть другие отводят глаза, но эта женщина скажет правду и поможет. Мне очень нужна ее помощь.

Надевая френч с медалями, я чувствовал себя прохвостом, хитрым, бессовестным эксплуататором женской души, донжуаном! Ругая себя, я примерил перед обломком зеркала, вмурованного в печь, офицерскую, образца сорок первого года, фуражечку с большим квадратным козырьком.

– Иди-иди! – сказала мне на прощание Серафима. – Иди, шелеспер! Иди, лобузяка недобитый!

Хата была у Варвары – загляденье. Говорили, что майор, командир саперного батальона, строившего под Глухарями гати во время военных действий, дал Варваре под ее команду целый взвод. И саперы постарались. Но Варвара умела обходиться и без мужиков, подбелить и подмазать стену, где надо, размалевать наличничек над окошком, за стеклом которого красовались слезки фуксии и «ленок», нацепить к плетню нескрипучую калитку. И сколько бы ни пелось песен в доме Варвары, сколько бы ни пилось самогонки и кем бы ни пилось, односельчане с уважением говорили, что Варвара «себя понимает».

И как только ты открывал дверь – не в горницу еще, а лишь в сени, – сразу ощущал чистоту, порядок и какую-то особую, ароматную свежесть. И когда видел чистенькие рушники, развешанные по стенам, и довоенную скатерть с бахромой, и хорошо промытые цветы, с оранжевой густотой заполнявшие горницу, и фотокарточки в свежоокрашенных рамочках под стеклами, и снежной белизны печь, по которой, казалось, только что прошелся квачик, и, самое главное, хозяйку в подкрахмаленной полотняной блузочке и цветастой украинской юбке, то понимал, откуда аромат свежести и чистоты.

Я постучал и, когда входил в горницу, низко нагнулся под притолокой, как будто рост не позволял войти иначе, а затем по-солдатски выпрямился, так, что медали открылись все сразу и бодро звякнули. И тут же раздался смех: «Хе-хе-хе-хе!»

В углу комнаты, под вышитым рушником, подвернув под себя одну ногу в драном, перевязанном проволокой ботинке, сидел Гнат. Он смотрел на мои медали и смеялся. Наверно, для него это были игрушки, цапки, что-то вроде бубенчиков.

Он как будто преследовал меня, этот Гнат, наши пути то и дело пересекались. Рядом с дурачком стоял туго набитый грязный мешок. Видать, Гнат только что вернулся из УРа.

Я до того оторопел, что не сразу заметил хозяйку. Она сидела за столом, где горела самая настоящая керосиновая лампа-двенадцатилинейка с хорошим, не битым, стеклом. Фитиль в лампе был вывернут на полную мощность, всю горницу заливал свет. Богато жила Варвара. Но занималась она странным делом: зашивала драный, грязный ватник Гната.

– А я уж думала, вы ко мне и не заглянете, Иван Николаевич, – певуче сказала хозяйка.

Она всегда разговаривала той странной речью, которую я, как человек, посещавший Киевский театр оперы и балета имени Шевченко, мог бы назвать речитативом, и казалось, что этот речитатив вот-вот перейдет в арию от наполнявших Варвару чувств.

Вот женщина! Ничего, казалось, в ней не было властного, говорила она мягко, нараспев, двигалась плавно, вся была округла и мягка, глаза ее были нежны, подернуты поволокой, как изморозью, и даже чуть по-коровьи печальны, но когда она посмотрела на меня, я, как и в *тот вечер*, почувствовал себя глиняной точанкой, которая брошена на круг перед гончаром, а он, гончар, решает, что из нее, точанки, сотворить: барильце или горшок? Она как-то сразу

пеленала взглядом, эта Варвара, заворачивала в кокон и не давала выпутаться. Планы мужского превосходства и донжуанской хитрости сразу улетучились.

– Где же ваша рушница, Иван Николаевич? – спросила Варвара, отбросив ватник и близко подойдя ко мне. Она взяла из моих рук фуражку, бережно положила на этажерочку, на кружевное покрывальце, и, отойдя, полюбовалась.

– Без рушницы, – пробормотал я.

– Ну и правильно, – сказала Варвара. – У меня в хате не стреляют. У меня все – для мирных дел. Ой, как я войны не люблю!.. До чего приятно стало в хате, – добавила она, глядя на фуражечку, точно на лучшее украшение комнаты.

Прямо передо мной на стене висел цветной фотопортрет супруга Варвары, бывшего директора гончарного заводика. На этом портрете супругу, товарищу Деревянко, было лет тридцать, раскрашенные щеки его пылали жаром, глаза ярко голубели. Убило его при налете, когда он мылся в бане, а было ему шестьдесят. Варвара звала его «дедом».

– Хе-хе-хе-хе! – некстати засмеялся Гнат. – Ой, хорошая ма-асковская сладкая девка, ой, груша-девка, хе-хе-хе!..

Он влюбленно посмотрел на Варвару. Он был совершенно счастлив в этом доме, почесывал пятерней грязную шевелюру.

– Хорош у меня жених? – спросила Варвара, указывая на Гната глазами. – Свадьбу сыграть, он и за попа сошел бы!

Гнат тряхнул своей паклей и снова засмеялся. Он не сводил глаз с Варвары, в его позе было что-то собачье, словно он готовился вскочить и поймать кость на лету. Что ему было нужно здесь?

В Глухарах некоторые отчаявшиеся бабы пытались взять Гната в прыймы. Мужик он был на редкость здоровый, шестипудовые мешки таскал не кряхтя, плуг волочил как вол. Несколько раз Гната мыли, стригли, одевали в чистое и вводили во вдовый дом. Но он не выдерживал первого же испытания. «Как начнет баба приступать, так он хватает шапку и тикает, – рассказывала Серафима. – Как хриц от «катуши».

Нет-нет, любовные намерения тут исключались. Гната могли экзаменовать лишь вошедшие в возраст одинокие бабы, хозяйство которых давало сильный крен без мужской руки.

– И приданого принес целый мешок, – продолжала Варвара. Она бросила Гнату его залатанный ватник. – Все, женишок. Давай домой... Жалко его, – пояснила она мне. – В Глухарах все любят обсуждать да осуждать, а добро сделать некому... Ну давай, Гнат!

Он принялся поспешно застегивать ватник. Варвара сунула ему за пазуху ржаную горбушку, застегнула пуговицу.

– Постой-ка, – сказал я, подошел к мешку и развязал его.

Крот не врал. Гнат действительно ходил в УР. По характерным выступам я догадался, что дурачок приволок целые снаряды. Наверно, ему не удалось сбить медные ободки в лесу, и он решил доделать эту работу дома.

Я вытряхнул из мешка молоток, зубило, дюжины две погнутых и пообитых медных ободков и наконец докопался до трех целеньких семидесятипятимиллиметровых немецких снарядов. Взрыватели находились на месте, один из них даже не был прикрыт дюралевым колпачком, виднелась мембрана. Достаточно было блохе чихнуть на эту мембрану, чтобы рушники Варвары оказались на Панском пепелище. Впрочем, все должно было произойти раньше, когда Гнат нес мешок на спине. Положительно, везет дуракам!

– Инструмент есть? – спросил я у Варвары. – Ну, плоскогубцы там...

– Как же можно в доме без мужского инструмента? – поводя глазами, спросила Варвара и вольной своей походкой, лодочкой на волне, отправилась в сени.

Она принесла ящик с ключами, плоскогубцы, отвертку.

– И как это хорошо, когда мужчина в доме, – сказала Варвара, наблюдая за мной и нисколько не опасаясь.

Я осторожно начал выворачивать взрыватель. Конечно, для этого нужен был специальный ключ и станок. Но мы научились в свое время обходиться подручными средствами. К счастью, передо мной был простейший механизм с одной ударной установкой, и с ним я рискнул обращаться достаточно смело, хотя и вспоминал случай с ефрейтором Дорошем, который вздумал вывинчивать многоустановочный взрыватель с уже выпущенного, но не разорвавшегося снаряда, где предохранительные шарики выкатились из-под ударника...

Гнат смеялся, как будто я забавлялся с игрушками. Наконец, нарушив все мыслимые и немыслимые правила безопасности, я справился с работой и положил обезвреженные снаряды в мешок. Варвара помогла мне, поддерживая мешок. Она была неробкого десятка.

– Ты это кончай! – сказал я дурачку. – Не трогай ты их, понял?

Он засмеялся снова. Может быть, снаряды казались ему поросятами и он их пас в лесу, а самых послушных приносил домой, в свою избу-развалюху? Медные кольца – это были путы, он освобождал от них поросят, выпускал на волю.

– Он ходит в УР. Стараются для Крота, поняла? – сказал я Варваре.

Она всплеснула руками:

– Вот дурак! Не боится!

Гнат улыбался. В самом деле, что ему было бояться бандитов, если он носил на спине готовые взорваться снаряды?

– Слушай, Гнат, – спросил я с тайной надеждой, – ты в УРе, ну, там, в лесу, встречал кого-нибудь? Ну, с автоматами? Та-та-та-та!

– Та-та-та-та! – подхватил он с радостью. – Та-та-та-та! Вкусно! Хлеб! Сало! Ха-арошее, сладкое ма-асковское сало!

– Какое еще сало? – спросил я.

– Там, – он махнул рукой в сторону окна. – Хорошо!

– Ну, хватит! Пошел, дурак! «Московское сало», надо же! – Варвара нахлобучила на путаную шевелюру Гната шапчонку и вытолкнула его за дверь.

Она исчезла в спальне, отделенной от горницы ширмой из ситчика в горошек, и через минуту появилась в городской крепдешиновой кофточке и расклешенной юбке.

– Ну? – спросила Варвара. – Хорошо? Я этого барахла наменяла – страсть! Городские, они, как трудно, зубы на полку. А мы – трудящие, нас земля кормит.

Она сделала движение руками – и накрахмаленная белая скатерть как бы сама собой легла на стол. И на столе возникло все, что должно возникнуть, когда женщина хочет накормить мужчину так, чтобы он это запомнил. Дубов с ребятами просто обалдел бы, глядя на такое угощение.

– Я думала, ты не придешь! – сказала Варвара. – Никогда уже! Стесняешься? Чудак! Вояками вы нынче становитесь раньше, чем мужиками. Небось на войне не одного человека застрелил?

Я промолчал.

– Ну вот, видишь! – сказала Варвара. – А баб опасаясь... Эх... Мыслительный ты парень, Иван, а надо бы проще, по-людски. Что ж мы столько ночек утеряти, а? Ну, может, что не так было, так будет лучше. И яблочко не за день созревает...

Ее грудь рельефно обрисовывалась под крепдешиновой кофточкой. Глаза приобрели темно-сливовый оттенок, который хорошо запомнился мне в тот вечер. О черт! Я снова думал о лесах, о том, как нежно светится озимь под сентябрьским солнцем, когда идешь по стежке свободный, не связанный ничем – ни воспоминаниями, от которых рождается чувство стыда, ни обязанностью любить... И смутный образ девушки в черном платке, как символ свободы, простоты и естественной принадлежности лесам и полям, промелькнул передо мной. Я понял

теперь, в эту совсем неподходящую минуту, откуда взялась та плавность и легкость, с которой шла девушка с коромыслом. Природа создала ее цельно, как былинку, как росток озими, и когда она шла, то шла бедро к бедру, лодыжка к лодыжке...

О черт! Я ничего не понимал: сидел рядом с Варварой, но думал не о ней. И так вот, раздваиваясь, терял последние остатки решительности, с какой явился сюда. Варвара пленала меня взглядом, опутывала, лишала воли.

– Варвара! – сказал я нарочито резко и грубо. – Сядь! Не стой перед глазами.

Она тут же села. Неназойливая обволакивающая властность удивительно сочеталась в ней с готовностью повиноваться.

– Ты была с Горелым?

– Вот оно что... Дурачок, разве это важно?

– Важно! Я из-за этого пришел.

– Ах, так!.. – она сжала губы, задумалась. – Ну да, я виноватая. Красные командиры за Днепр ушли, а я тут осталась виноватая. Война мой век коротит, а я виноватая. Если и встретишь мужика, то в полицейской фуражке, и ты же виноватая!

– Да что я, прокурором пришел? – не выдержал я.

– А кто ж ты?

– Горелый бродит где-то здесь, – сказал я. – Он повесил Штебленка.

– Тебя он не повесит, чего волнуешься?

– Откуда ты знаешь, что не повесит?

– Знаю. Да, я была с Горелым! – Она говорила, подавшись ко мне через стол, и грудь тяжело легла на скатерть, креплешин слился с полотном, а вырез открылся. – Он тебя не тронет, если будешь делать, как я говорю. Горелый сейчас не полезет на рожон, не то время! А придет зима, он вовсе уйдет.

Она разбиралась... Зимой, когда следы выдают и зверя, и человека, Горелый не станет бродить возле села.

– До снега сколько он еще может натворить! – сказал я. – Ведь гад! Фашист, бандера!

– Тебе двадцать лет, Ваня. Побереги себя. Тебя еще девки знаешь как любить будут!

– Что ты в нем нашла? – перебил я ее.

– А чего я должна находить? – сказала она снисходительно, как будто разговаривала с несмышленищем-почемучкой. – Нечего мне находить. Мужик он! Живой, не инвалид. Жениться хотел. Много ли таких в войну? Может, в нем чего и не так... Только когда один подходящий мужик на район, выбирать из чего?

– Ты виделась с ним после того, как ушли немцы?

– Вот еще! Дуручка я тебе отвечать на такие провокации.

– Не ты ли его подкармливаешь, Горелого? Рубашечки отстирываешь?

– Я?... – Она рассмеялась. – Чтоб я на них стирала? Плохо ты меня знаешь.

– Честно говоришь?

– Вот те крест!

– Может он прийти к тебе в село?

– Почему я знаю?

– А если позовешь? Небось знаешь, кому шепнуть.

– А он сам не позовется. Он же с собой увел Нинку Семеренкову. Не меня, а Нинку! У него к ней, видать, *серьез*, а ко мне – так.

Да, я был слишком самоуверен, когда надевал новый френч с медалями и воображал себя хитрым и ловким эксплуататором женской наивности. Варвара ясно показывала, что наши с ней отношения ни к чему не обязывают ее. Может, вообще нельзя определить, когда разговариваешь с женщиной: лжет она или говорит правду? Умом я понимал, что Варвара кокетничает

и притворяется. Но сердце было не в ладах с умом и принимало все слова за чистую истину. Вот и разберись...

– Откуда тебе известно про Семеренкову? – спросил я.

– Ну, на этот счет мы, бабы, знаем, что нужно. И чего вы это, Иван Николаевич, – она снова перешла на это игривое «вы», – допрашиваете? Вечер такой приятный! Или вы меня заарестуйте за Горелого, или не допрашивайте!

Теперь она была так близко, что я ощущал теплоту ее дыхания на щеке. От нее туалетным мылом пахло, хотя какое могло быть туалетное мыло в Глухарах, в одна тысяча девятьсот сорок четвертом?

– Не буду я тебя арестовывать! – сказал я.

Ее зрачки были против моих. Казалось, я со страшной скоростью несусь ей навстречу и мы вот-вот столкнемся, разлетимся вдребезги.

– Послушай! – взмолился я. – Ведь он тебя, наверно, любил. Он снова захочет увидеть тебя... Ты можешь помочь мне! Вызови его в село, а?

– Нет, – сказала она и отодвинулась. – Я простая баба, Иван Николаевич. Я такого не понимаю. Я тебя и себя жизни лишать не хочу. Не для того люди рождаются, чтоб сами себя губили. Так не годится.

– А что годится?

– Я скажу что. – Она накрыла мою ладонь своею. Рука у нее была горячая, как хиппакет. – Переезжай ко мне. Ну, в прыймы, уж как хочешь. Тебе хорошо будет. Войну перезимуем. Заботиться буду. Ты ж раненый, тебе хорошая баба нужна. Ласковая, умелая. Я верная тебе буду. Честно! Разве бабы от доброй жизни гуляют? Я тебя беречь буду. Тебе такая, как я, нужна, поверь, с пониманием. Ну, годочка на три старшая, так то ж не беда. Все, пока молодые, молодые по-разному, а к старости все сравниваются, придет час! – Она примолкла, как будто давая мне возможность подумать. – А не захочешь потом, надоест – держать не буду. Тебе учиться надо, я ж понимаю, голова у тебя толковая. Ты здесь на временной побывке. А мне – хоть немного человечьей жизни. Хоть чуть-чуть. Чтоб было что вспомнить...

– А Горелый? – спросил я.

– Что – Горелый? Я ж тебя не спрашиваю про твою биографию.

– Как ему понравится?

– Пусть бы сунулся! – сказала Варвара грозно. – А то взяли бы и уехали. Нет, со мной бы ты не пропал и до мирной жизни дожил. Ты и так своей кровушки отдал досыта. О себе надо думать. Я хоть не такая грамотная, как ты, а все же ум у меня расторопнее. Я дело говорю, Ваня... Иван Николаевич!

Наверно, она дело говорила. И, наверно, искренне. Разумное предложение – дожить в тепле и сытости до мирных дней. Ребята там, на фронте, небось снова ползают на брюхе за передовую. И, как всегда, вернувшись с разведанными или с «языком», кого-то недосчитывают.

– Нет, Варвара, – сказал я. – Мне такая жизнь не личит. Но вообще... спасибо!

– Не жалеешь меня? – спросила она.

– Не до жалостей, – сказал я, не глядя на нее и чуть отодвигаясь. – Бандиты рядом. Тебя пожалеешь... себя... А как быть с другими?

– Ох, дурак! – сказала Варвара. – Не знаешь, что у твоей жизни есть цена. И подороже, чем у других. Ну почему не понимаешь? Да ты пойми, ты хоть и воевал, ты против Горелого – морковка. Он мужик в силе, при уме. Ты послушайся! Я тебе спастись предлагаю. Уберечься.

– Нет, Варя. Не туда моя дорожка...

– И мне ты все пути срезаешь, – сказала она. – Ты мне ничего не оставляешь, Иван, кроме одного. – Она вдруг замолкла на секунду. – Я за тобой хочу укрыться, пойми. Ты меня спасешь, а я – тебя. Мы квиты будем. Ну а там, захочешь, гуляй, вольному воля.

– Ну хорошо! – не выдержал я. – Хорошо! Помоги сначала с Горелым справиться. Скажи, как его взять.

Она задумалась и посмотрела на меня внимательно. Влажная поволока сошла с глаз, и в них появилась трезвая бухгалтерская сосредоточенность. Удивительно, как в ней совмещались два человека...

– Нет, – сказала наконец Варвара твердо. – Не совладать тебе. Загубишь ты нас обоих, вот и все. Ты парень с фантазиями, не могу я тебе в этом довериться.

– Ну, я пошел, – сказал я и встал.

Бежать надо было отсюда, бежать!

– Пацан ты все-таки, – сказала она сдавленно. – Понавешали тебе отличий, а ты пацан. В герои хочешь? Вон их сколько стало, героев, безруких да безногих. Кому они нужны? А те, что под холмиками позасыпаны? Кто их станет будить, Михаил-архангел? Второй жизни не жди, Иван...

Тут в сенях загремели, и в хату, не дожидаясь ответа на стук, вошел Попеленко. Ну и рад я ему был!

– Здравствуйте, хозяева и гости! – сказал Попеленко.

Он мигом оценил обстановку, скользнул взглядом по столу – ничего еще не было тронуту. Попеленко посветлел.

– А я тебя все шукаю! – обратился он ко мне. – Сегодня ж Ивана постного. Не годится родного начальника не поздравить!

И он, не тратя времени, разделся, поставил в угол свой карабин и снял ремень с подсумками. Мой подчиненный был не из стеснительных. Если что и смущало его, так это гневные глаза Варвары.

– Не журишь, серденько, – сказал он. – Сегодня у него именины, а завтра твои.

– Мои не скоро, – сказала Варвара и отвернулась к зеркалу.

– В декабре, семнадцатого, что ли? – сказал я. – Варваринские морозцы.

Помнил я хорошо эти морозцы. В сорок втором они нам дорого стоили. Мы тогда прорывались к Обояни. Много обмерзших ребят осталось в глубоких, как пропасти, логах Курщины. Когда мы наконец сумели достичь окраин Обояни, у нас не хватило сил взять ее. Да еще в морозном тумане наша батарея ударила по нашим же двум единственным танкам...

– Семнадцатого декабря! – восхитился Попеленко и оглядел тарелочку с курятиной. – Во, товарищ старший все знает! – Он, поглядывая на Варвару, придвинул к себе табуретку. – На вид молодой, а святцы помнит, точно этот... митрополит!

– Помолчи, Попеленко.

Святцы-то я знал. Живя при бабке Серафиме, я их выучил раньше азбуки. Дубов, тот не доверял метеосводкам и обращался ко мне для подтверждения: «Капелюх, какие там у нас народносиноптические приметы?» И я бодро отвечал: «Товарищ старший лейтенант, завтра Евлампия, на Евлампию рога месяца кажут сторону ветров. Если на юг – до казанской грязь, туманы, снегу не будет, если на север – снег ляжет посуху, готовься к чернотропу...» – «Ага, – усекал Дубов. – Ну, помогай нам, Евлампия, давай туман рогами на юг...» Предугадать погоду перед поиском – половина удачи. Вот как пригодились мне уроки Серафимы. Кто там сейчас, в группе, на роли синоптика? Наверно, старик Бубакин, он выверяет сводки по ломоте в костях.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.